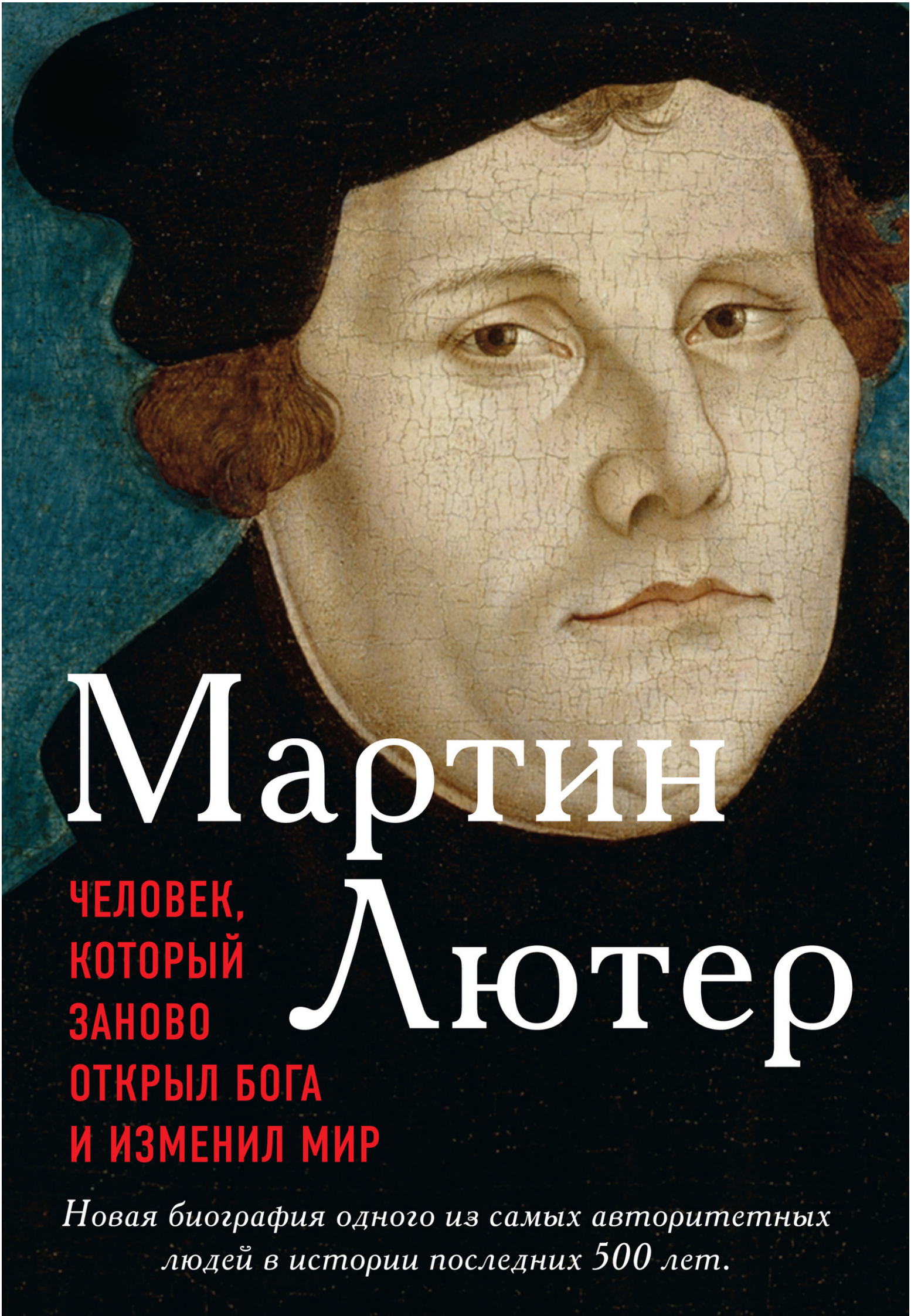


Мартин Лютер

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАНОВО ОТКРЫЛ БОГА И ИЗМЕНИЛ МИР

Новая биография одного из самых авторитетных людей в истории последних 500 лет.

Жизнь гениев. Книги о великих людях

Эрик Метаксас

Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир

«Эксмо»
2017

УДК 274
ББК 86.37

Метаксас Э.

Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир / Э. Метаксас — «Эксмо», 2017 — (Жизнь гениев. Книги о великих людях)

ISBN 978-5-04-097814-4

Новая биография одного из самых авторитетных людей в истории последних 500 лет. Мартин Лютер оставил ярчайший след в истории и навсегда изменил мир не только потому, что был талантливым проповедником и церковным бунтарем, расколовшим западное христианство на католичество и протестантизм. Лютер подарил людям свободу и научил бороться за правду. Выполнив перевод Библии с латыни на свой родной язык, он положил начало общенародного немецкого языка и сделал Священное Писание доступным для всех. Своими знаменитыми «95 тезисами» Лютер не только навсегда изменил карту христианского мира, но и определил дух Нового времени и культурные ценности, направившие Европу в будущее. Эта захватывающая история мужества, борьбы и интриг написана известным писателем и журналистом, одним из самых талантливых рассказчиков о гениях прошлого. Эрик Метаксас нарисовал поразительный портрет бунтаря, чья несокрушимая чистая вера заставила треснуть фундамент здания западного христианского мира и увлекла средневековую Европу в будущее.

УДК 274
ББК 86.37

ISBN 978-5-04-097814-4

© Метаксас Э., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

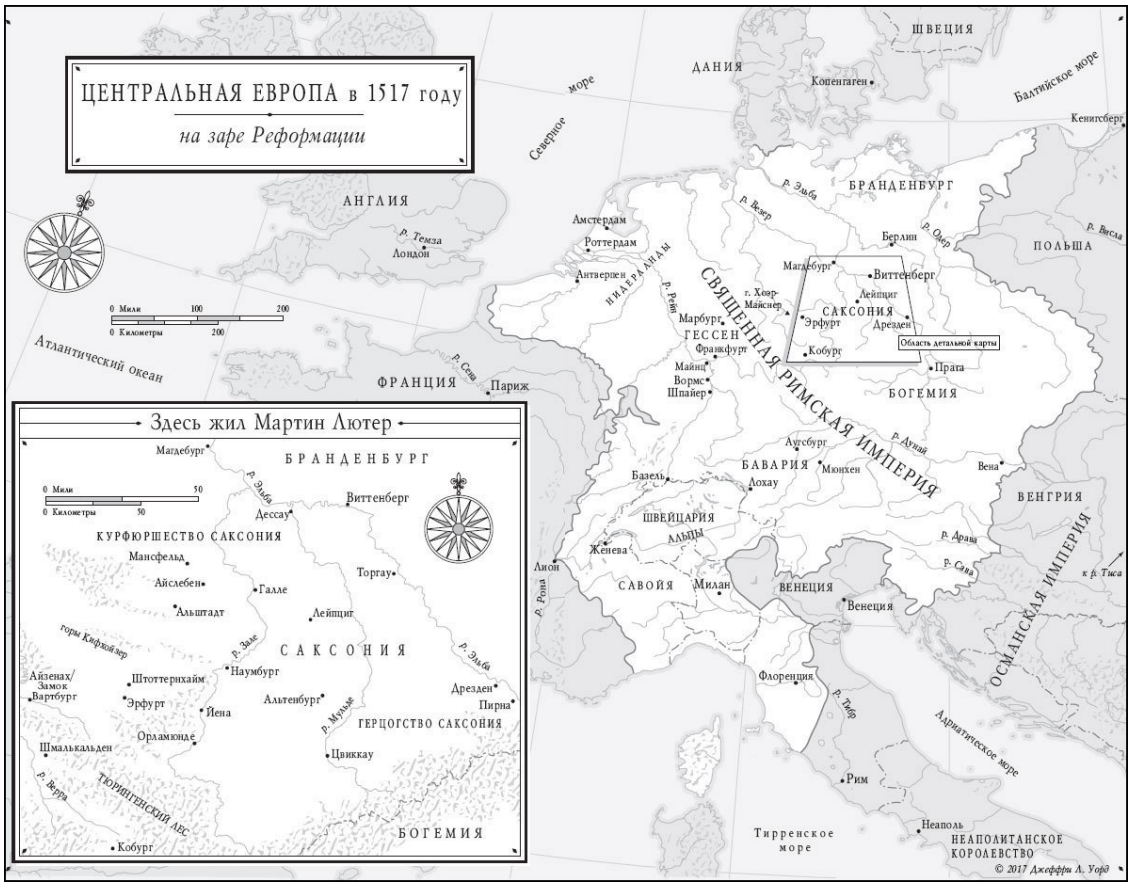
Хронология 7
Благодарности 9
Введение 10
Мифы и правда 12
Безумие Мартина Лютера 13
Глава первая 14
Недавние археологические открытия 17
Отношения Лютера с отцом 19
Школьные годы 20
Магдебург. Aetatis[14] 13 22
Айзенах. Aetatis 14 24
Эрфурт. Aetatis 17 28
Гуманизм 29
Перед ударом молнии 31
Глава вторая 34
Лютер становится священником. Aetatis 23 38
Трудный путь на небеса 43
Лютер терпит неудачу 46
Глава третья 49
Проблемы с Аристотелем 50
Библия 51
Путешествие в Рим. Aetatis 27 54
Любопытный случай Анны Ламинит 59
Глава четвертая 62
Под грушевым деревом. Aetatis 28 63
Виттенберг 65
Реликвии Фридриха Мудрого 69
Виттенбергский профессор 70
Спалатин 72
Лукас Кранах 73
Реформа изнутри 75
Рейхлин 76
Эразм Роттердамский 78
Рим 80
Глава пятая 84
«Прорыв» к Реформации. Aetatis 33 86
Спор об индульгенциях 89
Глава шестая 97
Конец ознакомительного фрагмента. 100

Эрик Метаксас
Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир

Eric Metaxas MARTIN LUTHER. THE MAN WHO REDISCOVERED GOD AND CHANGED THE WORLD
Copyright © 2017 Eric Metaxas

© All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
© Холмогорова Н. Л., перевод с английского, 2019
© ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *



Хронология

1483 – Лютер рожден в Айслебене 10 ноября. На следующий день его крестят. Как считают историки, Мартин – старший из восьми детей, родившихся у Иоганна «Ганса» Людера и Маргариты Людер, урожденной Линдеманн.

1484 – Примерно через полгода после рождения Мартина семья переезжает в Мансфельд. Именно там Лютеры воспитают всех детей и останутся до конца дней своих.

1490 – Мартина отправляют в школу в Айзенахе.

1496–97 – Мартин в течение года посещает школу в Магдебурге.

1501 – Мартин поступает в Эрфуртский университет.

1505 – Мартин начинает изучение права в Эрфуртском университете.

1505 – Мартин дает обет стать монахом 2 июля в путешествии через деревню Штоттернхайм. Он поступает в монастырь августинцев в Эрфурте и принимает монашеские обеты.

1506 – Мартин встречает Иоанна фон Штаупица.

1507 – Мартин посвящен в духовный сан и служит первую мессу перед родителями и прихожанами.

1508 – Осенью Штаупиц отправляет Лютера на год в Виттенберг.

1509 – В Виттенберге Мартин получает степень бакалавра теологии.

1510–11 – Мартин предпринимает пешее паломничество в Рим.

1511 – Штаупиц переводит его в Виттенбергский монастырь, где он будет до конца дней.

1512 – Под грушевым деревом Штаупиц убеждает Лютера претендовать на докторскую степень.

1513–17 – Лютер читает лекции о книге Псалмов, а также о Посланиях к Римлянам, Галатам и Евреям, и этим закладывает экзегетический фундамент того, что последует в дальнейшем.

1517 – Лютер постулирует свои 95 тезисов (как принято считать, 31 октября) и посылает письмо и тезисы в Магдебург, архиепископу Альбрехту.

1518 – Лютер выступает на Гейдельберских диспутациях в апреле. В Виттенберг прибывает Меланхтон.

1518 – В октябре Лютер прибывает на Аугсбургский рейхстаг и предстает перед папским легатом, кардиналом Каэтаном.

1519 – Лейпцигский диспут с Иоганном Эком в июле.

1520 – Лютер пишет три значительные работы: «К христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском пленении Церкви» и «О свободе христианина».

1521 – *Лев X издает папскую буллу Exsurge Domine* («Восстань, Господи!») и предоставляет Лютеру шестьдесят дней на то, чтобы появиться в Риме и ответить на обвинения в ереси.

1521 – Лютер появляется на Вормсском рейхстаге в апреле.

1521 – В мае, после того как империя осуждает Лютера как еретика и преступника, Фридрих Саксонский устраивает его «похищение» и увозит в замок Вартбург, где Лютер на протяжении десяти месяцев остается инкогнито.

1521 – В декабре Лютер инкогнито наносит краткий визит в Виттенберг. Лукас Кранах рисует его портрет в образе «юнкера Георга».

1522 – За одиннадцать недель в замке Вартбург Лютер переводит на немецкий язык Новый Завет. В марте он возвращается в Виттенберг и произносит восемь проповедей, отменяет все крайности, на которые пошли в его отсутствие Карлштадт и Цвиллинг, и возвращает себе роль предводителя виттенбергской Реформации.

1523 – В феврале опубликован немецкий перевод Нового Завета.

1525 – Крестьянская война в Германии. Мюнцер убит.

1525 – В июне Лютер женится на Катарине фон Бора. Семья Карлштадта прибывает в Виттенберг. Лютер пишет «О рабстве воли».

1526 – Рождается Иоганн «Ганс» Лютер.

1527 – В декабре в семье Лютеров рождается дочь, Элизабет.

1528 – В августе, прожив всего семь месяцев, Элизабет умирает.

1529 – В мае у Лютеров рождается вторая дочь, Магдалена (Ленхен); в октябре проходит Марбургский диспут.

1530 – Аугсбургский рейхстаг. Лютер все это время остается в замке Кобург.

1531 – В ноябре у Лютеров рождается сын, Мартин-младший.

1533 – В январе у Лютеров рождается сын, Пауль.

1542 – Заболевает тринадцатилетняя дочь Лютера, Ленхен. Она умирает на руках у отца 20 сентября.

1546 – Лютер вместе с тремя сыновьями отправляется в Айслебен. 14 или 15 февраля он произносит свою последнюю проповедь. Похоронен в Виттенберге.

Благодарности

Создание такой книги, как та, которую вы сейчас читаете[1], требует не одного только чтения и исследования – занятий, которым, слава богу, я более или менее способен предаваться и без посторонней помощи. Однако неоспоримо, что книга эта вовсе не появилась бы на свет без усилий и трудов издательской команды «Viking», под руководством *capo di tutti capi*[2] Брайана Тарта, которого я должен поблагодарить (и сейчас благодарю) за его неоценимую поддержку и полезнейшие редакторские советы, не говоря уж (хотя, однако, говорю!) о руководстве такими талантливыми и знающими сотрудниками, как Эми Сан, Райан Бойл, Колин Уэббер, Эми Хилл, Ребекка Марш и другие. Никогда еще я не признавал этого вслух, но знаю совершенно точно: случись Брайану Тарту и его команде работать в «Викинге» в начале семидесятых – «Радуга земного тяготения», вполне возможно, читалась бы куда легче да и продавалась бы до сих пор. *Quelle dommage!*[3]

Тяжелейшую и непростительную ошибку совершил бы я (но совершать не буду), не упомянув команду собственных помощников под водительством великолепной Элизы Леберис. Труды ее на благо мое столь велики и обширны, что не поддаются никакому описанию; уверен, без нее я лишился бы не только счастья получить свеженький экземпляр своей новой книги, но и крова над головой, ботинок и зубов. Особенно благодарю Рути Тотеро и Брэндона Сантулли, которые помогли мне найти источники некоторых особо заковыристых цитат. Впрочем, из этого вытекает, что любые возможные ошибки в атрибуции цитат следует – увы – отнести на их счет[4].

Я бесконечно благодарен моей жене Сюзанне и нашей дочери Анне-Розе за их любовь и снисходительность и не в последнюю очередь – за то, что порой терпеливо переносят причуды и капризы автора, беременного новой рукописью. И, наконец, хочу поблагодарить дорогих моих друзей Маркуса Шпикера и Грега Торнбери, которым и посвящаю эту книгу (а также все побочные продукты, которые могут выйти из этого исследования). Первого – за то, что, позвонив мне из Берлина в 2012 году, днем после обеда (а я отдыхал в это время в отеле «Арктик-Клуб» в Сиэтле, и там еще даже не рассвело), настойчиво убеждал написать биографию Лютера. Второго – за то, что за ужином в ресторане «Орсэй» на Манхэттене не менее настойчиво рассказывал о том, как необычайна история Лютера и как важно в очередной раз поведать ее миру до октября 2017 года – знаменательного пятисотлетнего юбилея. Имея таких друзей и зная об этом, остается лишь покатываться со смеху над богатствами нищего Креза. Что я и делаю.

[1] Да, я на вас смотрю!

[2] «Начальника начальников», ит. – прим. пер.

[3] «Какая потеря!», фр. – прим. пер.

[4] Строго говоря, это совершенно неверно. За все ошибки в книге, конечно, отвечает автор. Но как вы думаете, готов ли я это признать? Абсолютно не готов!.. Ну разве что в примечании, мелким шрифтом.

Введение
Пастырь, мятежник, пророк, монах

В 1934 году афроамериканский пастор из Джорджии совершил путешествие, изменившее его жизнь: пересек Атлантический океан, через Гибралтар попал в Средиземное море и, переплыв и его, побывал в Святой Земле. После этого паломничества он отправился в Берлин, на международную конференцию баптистских священников. В Германии этот человек, получивший при рождении имя Майкл Кинг, был настолько потрясен тем, что узнал о реформаторе Мартине Лютере, что решился на необычный шаг. Он принес памяти этого человека величайшую возможную дань: изменил собственное имя и начал зваться Мартин Лютер Кинг. Его пятилетнего сына также звали Майклом – и для близких родственников он вплоть до смертного часа оставался Майком – однако отец сменил имя и ему, и Майкл Кинг-младший стал известен миру как Мартин Лютер Кинг-младший.

Смена имени отца и сына – лишь один из примеров силы и глубины того влияния, которое оказал и продолжает оказывать на мир Мартин Лютер. Его писания и действия изменили ландшафт современного мира до неузнаваемости: многое из того, что мы ныне воспринимаем как должное, восходит к нему – эксцентричному гению из Виттенберга.

Например, важнейшая для современности идея индивидуальности – и личной ответственности человека в первую очередь перед собой и Богом прежде всяких институций, церковных или государственных – до Лютера была так же немыслима, как цвет в черно-белом мире. Столь же современная идея «народа», вместе с вытекающим из нее демократическим импульсом, также была создана Лютером – или, по крайней мере, благодаря ему обрела голос. Да и более свежие идеи плюрализма, религиозной свободы, самоуправления – все они вошли в историю через дверь, открытую Лютером и ведущую в будущее, в котором живем мы сейчас.

Лютер известен в первую очередь по двум иконическим образам. Первый: в 1517 году он прибивает к огромным деревянным дверям виттенбергской Замковой церкви свои «Девяносто пять тезисов», в которых обличает широко распространенную тогда практику продажи индульгенций. Второй – его бесстрашное выступление в 1521 году на рейхстаге в Вормсе. Там, перед императором Священной Римской империи Карлом V и впечатляющей толпой немецких аристократов – и, что еще важнее, перед представителем папы Фомой Каэтаном – Лютер непоколебимо настаивал на своих убеждениях; там он сделал заявление, разом прочертившее границу между средневековым и современным миром. Когда он сказал, громко и ясно, что боится Божьего суда больше, чем суда знатных особ, собравшихся в этом зале – эти слова потрясли мир. Как посмел кто-то, тем более простой монах, заявить, что это не одно и то же?! С незапамятных времен сильные мира сего говорили и от имени государства, и от имени Бога. Однако Лютер бросил им вызов, смиренно, но бесстрашно – и тем начал новую эпоху в мировой истории. Эпоху, в которой живут страны Запада и по сей день.

То, что за этим последовало, почти до неузнаваемости изменило ландшафт западной культуры. Сам того не зная, Лютер открыл дверь в новый мир: плотина рухнула, четко установленные границы приемлемого разлетелись на мелкие осколки – окончательно и бесповоротно. У человека разом появились и свобода, и возможность жить своим умом, и серьезнейшая ответственность перед Богом за то, как он своей свободой распорядится.

Быть может, самое знаменательное в истории Лютера – то, что ее могло и не быть. Мартин Лютер вовсе не был прирожденным борцом с папскими ветряными мельницами. В сущности, бороться с ними он и не стремился. Вплоть до 1520 года он ревностно защищал Церковь. Он отчаянно стремился помочь Риму свернуть с неверного, на его взгляд, пути. По злой иронии судьбы, напоминающей историю Эдипа, Лютер сам принес в мир то, чего так старался избе-

жать. Как показывает его история, сложное, порой парадоксальное взаимодействие церковных, идейных и политических сил породило ту прошедшую по Европе бурю, которую мы сейчас называем Реформацией и ее последствиями. Теперь мы в силах лишь гадать, чего могли бы избежать, прояви папа Лев X побольше внимания к своей исторической роли и прими предложения немецкого монаха ближе к сердцу. Именно упрямая несговорчивость Рима подталкивала Лютера ко все более и более смелым заявлениям – и в конечном итоге сделала невозможным примирение и заставила его выбрать путь, о котором верующие спорят по сей день: одни называют его невежественным и еретическим, другие – славным и правоверным. К добру или к худу, Мартин Лютер сделался «повитухой» того непоправимо расколотого мира, в котором обитаем мы сейчас.

Мифы и правда

На протяжении жизни Лютера слава о нем бежала по земле семимильными шагами, и бег этот не замедлила даже его смерть. Однако скоро кипящая магма его известности застыла, приняв жесткую агиографическую форму: в результате большая часть того, что «знает» мир о Лютере – выдумка.

Это можно увидеть на примере самых известных «фактов» из его жизни. Во-первых, родился он в бедной крестьянской семье, ребенком знал нужду и голод. Во-вторых, суровый и невежественный отец так жестоко избивал мальчика, что это искалечило его психику и заставило представлять Бога Отца таким же свирепым и жестоким существом, которое надо смягчать и умилостивлять бесконечными унизительными религиозными корчами – или вовсе от него бежать. В-третьих, легкомысленный молодой человек двадцати одного года от роду, никогда прежде не задумывавшийся о том, чтобы посвятить себя Богу, был до безумия напуган вполне буквальным огнем с небес – в ужасе произнес он клятву стать монахом, а затем постригся, ибо чувствовал себя обязанным эту случайную клятву исполнить. В-четвертых, во время поездки в Рим он был так поражен царящим там развратом и безбожием, что решил уничтожить развращенную, чересчур снисходительную к пороку итальянскую Церковь и воздвигнуть на ее месте бескомпромиссную, несгибаемую немецкую. В-пятых, этот проект длиною в жизнь начал он с того, что прибил на двери виттенбергской Замковой церкви свои гневные обличительные тезисы – и тем сообщил папе, к несомненному его ужасу, что дела его взвешены на весах и найдены очень легкими. В-шестых, после великого выступления на Вормсском рейхстаге – там, где сказал: «На том стою и не могу иначе» – он бежал в Вартбург, там в самом буквальном смысле боролся с дьяволом и однажды даже, разгневанный наглостью врага рода человеческого, запустил в него чернильницей. В самом деле, всякому, кто в этом усомнится, достаточно съездить в Вартбург – и даже теперь, пять столетий спустя, увидеть там запятнавшие стену брызги чернил. В-седьмых, монахиня, на которой он женился, бежала из монастыря, спрятавшись в бочке из-под селедки; точнее сказать, целая дюжина монахинь спряталась в грязных селедочных бочках, закрепленных на ломовой телеге, которая с лязгом и грохотом понесла их к свободе.

Все эти подробности мы слышали бессчетное множество раз. Об этом рассказывают на многих языках экскурсоводы в памятных местах, связанных с Лютером; об этом пишут во многих книгах о Лютере (в том числе глубоких и увлекательных книгах), в интернет-публикациях и в блогах. Но все эти семь «фактов» ложны. Все это – красочные, но сомнительные истолкования или дополнения к реальным фактам, со временем окостеневшие и окаменевшие в мраморе благочестивой легенды, передающейся из уст в уста уже полтысячелетия. Благочестивым преданиям «пастора» Уимса о Джордже Вашингтоне, рубившем вишни и бросавшем через широкий Потомак серебряные доллары, всего сто пятьдесят лет; мифы о Лютере существуют более чем втрое дольше. Следовательно, культурные корни их намного глубже. Надеюсь, моя книга внесет свой скромный вклад в отделение истины от мифов.

Безумие Мартина Лютера

Поразительна не только роль Мартина Лютера в истории. Экстраординарно и все, что привело к событиям, изменившим мир: его внешность, характер, поведение. Однако все эти необычные черты не сопровождали его с рождения: они начали проявляться постепенно уже после 1517 года. И потому стоит задаться вопросом, что вызвало изменения в личности и характере Лютера после публикации его тезисов. Как примирить сурового, мрачного, до крайности благочестивого монаха, каким был он в ранние годы, с «поздним» Лютером – шумным, задиристым, бесстрашным, всегда готовым сыпать солеными шутками и оскорблениями? Как тихий, серьезный, педантичный юноша превратился в завзятого шутника, порой доходящего до клоунады и непристойностей? Перемена в нем совершилась не с такой скоростью, как с Павлом на дороге в Дамаск – и все же перемена эта очевидна и важна. Что бы с ним ни произошло, Лютер как будто родился заново – и превратился в этакого веселого дудочника, шута, зачарованного открывшейся ему новизной, свободой и радостью настолько, что многие считали его одержимым – или попросту сумасшедшим.

Краткий ответ на этот вопрос – и причина того, почему история Лютера не похожа ни на какую иную – состоит в том, что после долгого и мучительного поиска он наконец Божьей милостью нашел то, чего жаждут все люди после того, как утратили Эдем. Он нашел герменевтический рычаг, которым можно поднять весь мир на высоту небес. Такова основная проблема человечества: как перекинуть мост через бездонную пропасть между несовершенным человечеством и совершенным Богом, землей и небесами, смертью и жизнью. И Лютер открыл, что проблема эта уже решена: пятнадцать столетий назад ее разрешил иудейский Мессия. Так что открытие его лучше назвать «повторным открытием». Все дело только в этом: в простой вере, с которой мы принимаем диагноз, поставленный Богом, и предложенное Им решение неразрешимой проблемы. Стоит принять это – и проблема решена. Много столетий народ Божий блуждал в пустыне, пока этот новый Моисей наконец не вывел его в землю Обетованную.

Далее Лютер пришел к мысли, что делать что-то иное, помимо простого принятия веры, значит ломиться в открытую дверь. Это означает, что мы пытаемся добавить нечто к уже совершенному деянию Божьему – и ни к чему, кроме неудачи, это привести не может. Вот почему, словно безумец – или, вернее сказать, словно человек, понимающий, что ему посчастливилось обрести великое знание – каждую следующую секунду своей жизни, каждую калорию своей энергии посвятил он распространению этой великой истины, изменившей мир. Он проповедовал бесстрашно – но не потому, что был бесстрашен от природы; скорее потому, что в своем открытии ясно прочувствовал ничтожность и бессилие самой смерти. Смерть побеждена навеки: такова главная мысль его проповеди. История Мартина Лютера поразительна и драматична – и не менее поразительны последствия его истории для мира, вплоть до наших дней. О том, как вышло, что Мартин Лютер заново открыл величайшую благую весть, и как далее он посвятил жизнь проповеди благовестия по всему миру – и рассказывает эта книга.

Глава первая
За пределами мифов

У истории Мартина Лютера нет начала. Связано это с тем, что всякая попытка рассказать эту поистине неординарную историю поистине неординарного человека немедленно сталкивается с двумя парадоксами, делающими любое ясное и четкое начало невозможным. Один из этих парадоксов – календарный; второй же столь странен, что в нем трудно увидеть что-то помимо простого совпадения.

Первый, календарный парадокс состоит вот в чем: хотя о Мартине Лютере нам известно неизмеримо больше, чем практически о любом его современнике, ведь свидетельства о его жизни поистине неисчислимы – мы не в силах установить самый простой, основной факт: год, когда он родился. Дата рождения – 10 ноября – отлично нам известна; известен даже час – сразу после полуночи, если верить его матери. Но год, увы, от нас ускользает. Быть может, отчасти и по этой причине Лютер всю жизнь с большим подозрением относился к астрологическим прогнозам, страстным любителем которых был его будущий единочаятель Меланхтон. Сам Лютер всегда говорил, что родился, по всей видимости, в 1484 году; однако ни сам он, ни его мать не были вполне в этом уверены, а современные исследователи предпочитают брать за точку отсчета 1482-й или 1483 годы. Поскольку свидетельства склоняются в сторону последнего, эту дату мы и будем использовать в нашей книге.

Второй парадокс – совсем иного сорта. Известно, что 11 ноября – на следующий день после рождения – спеленутого младенца отнесли всего за сотню ярдов от дома, в овеянную благодатью церковь святых Петра и Павла и там крестили, дабы спасти от адского огня. 11 ноября Церковь праздновала память святого Мартина Турского, так что ребенок получил имя этого святого – обычная для того времени практика. Однако родители Лютера едва ли знали об одной подробности из жизни этого святого, которая в один прекрасный день проявится в жизни нареченного младенца зловещей, сверхъестественной и, как покажется, роковой параллелью.

Святой Мартин жил в IV столетии. Родился он там, где ныне Венгрия, рос там, где в наши дни Павия, а зрелые годы по большей части провел в области, которая ныне зовется Францией; в те времена все эти земли принадлежали Римской империи. Христианином Мартин стал в раннем возрасте, вопреки недовольству отца, а затем поступил на службу в римскую армию. Однажды в галльских провинциях, в городе Борбетомагус – в современной Центральной Германии – святому было приказано идти в бой. Однако Мартин, веруя, что кровопролитие несовместимо с христианскими убеждениями, смело отвечал: «Я воин Христов. Я не могу сражаться»[5]. За дерзкий отказ выполнять свои обязанности он был заключен под стражу и обвинен в трусости, однако это обвинение блистательно опроверг – вызвался выйти на поле боя безоружным, доказав тем самым, что страшится не потерять собственную жизнь, а отнять чужую. В конечном счете битвы не случилось, а Мартин вышел в отставку и вскоре стал монахом. Римский город Борбетомагус, где Мартин перед лицом смерти отстоял свою веру и встал на путь святости, впоследствии сделался немецким городом Вормсом. И здесь, на том же месте, где первый Мартин бросил вызов Риму – одиннадцать лет спустя бросил вызов Священной Римской империи и второй Мартин. Так на второй день жизни Мартина Лютера далекое прошлое соединилось в его судьбе с его собственным будущим.

Мир, в котором явился на свет маленький Лютер, уже много столетий оставался неизменным. Бесконечный океан отделял этот мир от огромных континентов, ныне известных

---

[5] В переводе Alexander Roberts, in *Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series.* Vol. II, ed. Philip Schaff and Henry Wace (Buffalo, N.Y.; Christian Literature,1894). Revised and edited for New Advent by Kevin Knight, http://newadvent.org/fathers/3501/htm.

как Северная и Южная Америка. Христофор Колумб исследовал в те годы берега Западной Африки, не ведая, что всего через какой-нибудь десяток лет отправится в отважное путешествие через Атлантику на трех каравеллах. Книгопечатание, изобретенное Иоганном Гутенбергом всего каких-то лет сорок назад, было еще в глубоком младенчестве. И хоть великий раскол 1054 года и отделил Восточную Церковь от Западной – мысль, что необъятная вселенная Святой Католической Церкви под водительством папы может быть потрясена до основания и разорвана надвое, не приходила в голову ровным счетом никому.

Мартин Лютер родился в последний год правления папы Сикста IV – одного из шести пап, столь комически и в то же время трагически несоответствующих своему месту и званию, что этот секстет как будто напрашивался на тумаки от какого-нибудь ревностного августинца[6]. Однако, несмотря на звучное имя, ни в детстве, ни в воспитании, ни даже в молодых годах Мартина Лютера ничто еще не предвещало необыкновенной судьбы.

Прежде чем выловить плетеную корзинку с младенцем Мартином из прибрежных камышей и идти дальше, добавим еще одно: изначально фамилия Лютера звучала не «Лютер», а «Людер». Изменил ее Лютер сам, когда и почему – неясно. Его отец и мать со временем с этим смирились и переменили и собственную фамилию: отчасти – из-за растущей славы сына, отчасти потому, что слово *Luder* несло с собой немало неприятных ассоциаций, от которых они рады были избавиться, оставив их в мире «подвалов», последних страниц и мелкого шрифта[7].

В попытке рассказать историю Мартина Лютера одна из самых сложных задач – отделить ее от бесчисленных сказок, мифов и легенд, которыми обросло его имя в последние пять столетий. И вот первый миф: Лютер будто бы родился в бедной семье. Отец его был якобы простым горняком, а мать и того хуже – банщицей сомнительной нравственности. Недавние археологические открытия позволяют покончить с этой сказкой раз и навсегда.

На самом деле отец Мартина – звали его Иоганн, или попросту Ганс – был человеком немалого ума и энергии. Его часто называют горняком, однако он определенно не был простым рабочим: это был амбициозный и, в конечном счете, весьма успешный предприниматель. Он владел несколькими плавильнями и в Айслебен приехал вместе с молодой женой, чтобы искать и разрабатывать там богатые залежи медной руды, залегающие глубоко в почве этого лесистого края. Молодая жена его Маргарита происходила из местной семьи Линдеманнов – видных, уважаемых, вполне зажиточных эйзенахских бюргеров. В 1497 году один из Линдеманнов даже стал городским мэром. Двое кузенов Мартина, сыновья старшего брата его матери, также стали известными людьми: один сделался доктором права и советником курфюрста в Саксонии, другой учился в Лейпциге, Франкфурте и Болонье, получил докторскую степень в медицине, стал личным врачом курфюрста Фридриха Мудрого, лечил иногда и самого Лютера. В последние годы жизни он также жил в одном городе с Лютером – в Виттенберге – и преподавал медицину в местном университете. Скромное происхождение, часто приписываемое родителям Лютера, особенно матери – часть агиографического нарратива, сложившегося уже после его смерти и нередко вводящего в заблуждение.

Можно предположить, что именно состоятельное семейство Линдеманнов одолжило Гансу Лютеру значительную сумму, необходимую, чтобы начать рискованное медеплавильное дело. И отец Лютера сумел разумно распорядиться этими инвестициями. Он трудился на износ – и, очевидно, полагал, что сын его Мартин, когда подрастет, станет активным участником

---

[6] Остальные пять – это папа Иннокентий VIII (1484–1492), папа Александр VI (1492–1503), папа Пий III (1503), папа Юлий II (1503–1513) и папа Лев X (1513–1521). Историю этих понтификов, сделавших все возможное, чтобы опорочить само имя папства, отлично рассказывает Барбара Тачмен в своей книге «Марш глупости» (Barbara Tuchman, The March of Folly).

[7] Словом «*Ludher*» именовали женщину неопрятную и дурного нрава: это слово переводится обычно как «неряха», «потаскуха» или просто «сука» (в том смысле, что относится к самке человека, а не к самке собаки). От того же корня происходит слово «lude» с еще более неприятным значением – «сводник». Значение корня связано с соблазном – в том числе сексуальным.

семейного дела. Мартин с детства проявлял большие способности, поэтому Ганс решил пустить его по ученой части – и выучить на юриста.

Можно предположить также, что по своей религиозности Людеры не отличались от других людей той же эпохи и того же социального статуса – и, следовательно, к Богу и к Церкви относились очень серьезно. По всей видимости, в доме их имелась домашняя часовня, посвященная святой Анне – женщине, которую не Библия, но христианское предание называет матерью Марии и которая со временем стала считаться святой покровительницей горняков. Причина этого в том, что, как говорили благочестивые верующие, во чреве ее зародились два бесценных сокровища. Из чрева Анны вышла Мария, а из чрева Марии – Иисус. Кто же лучше подойдет на роль святого покровителя людей, чья работа – поиск сокровищ во чреве земли?[8]

[8] Sproul and Nichols, *Legacy of Luter,* 16.

Недавние археологические открытия

Мощный толчок лютероведению дали в последние годы археологические открытия в городе Мансфельде, где жил Лютер с шести месяцев и до поступления в школу в Магдебурге. Вот самое примечательное из них: раскопки, начатые в 2003 году, показали, что маленький скромный домик, в течение столетий демонстрировавшийся в Мансфельде как «дом Лютера», на деле представляет собой лишь треть настоящего дома, где жила его семья. Это еще раз подтвердило: когда сам Лютер, уже взрослый, называл своих родителей «поселянами» или «бедными горняками» – это была лишь типичная для него смесь смирения и преувеличения. Вопреки мифам, выросшим из такой самохарактеристики и продержавшимся добрых пять веков, Лютер рос во вполне зажиточном доме. Насколько зажиточном – можно судить по еще одному (2008 год) археологическому открытию во время раскопок на месте этого дома. В том году была обнаружена «прежде неизвестная комната с кирпичными стенами», относящаяся ко времени лютерова детства; а в ней – такое множество разного бытового мусора, что для археолога рядом с этой сокровищницей бледнеет и гробница Тутанхамона. Тщательное исследование этого мусора открыло для нас повседневную жизнь Лютеров в те годы. Явились на свет давно погребенные в толще веков вещи, которыми пользовались Мартин и его семья – и объем и широта находок оказались поистине разительны. Находки подтвердили: перед нами не дом бедных, скромных крестьян – напротив, это дом богатой и уважаемой семьи, одной из первых в городе.

Анализ не менее семи тысяч костей животных показал, что 60 процентов мясного рациона семьи Лютера составляла свинина. Фрагменты костей в основном принадлежат «молодым животным», мясо которых стоило дороже, чем жесткое мясо старых боровов. Тридцать процентов костей принадлежат овцам и козам, оставшиеся десять – крупному рогатому скоту. Также идентифицированы более двух тысяч костей домашней птицы, в основном гусей – а гусятина в то время тоже стоила дороже прочего. Также на столе у Лютеров регулярно бывали цыплята, «изредка попадались утки или голуби». В некоторых гусиных костях просверлены дырочки – кости превращены в манки для птиц: мелкие певчие птицы много столетий были в немецких домах обычной частью повседневного рациона. Наконец, внимательно изучили археологи и рыбьи кости – и идентифицировали такую пресноводную рыбу, как «карп, лещ, плотва, жерех, судак, окунь и угорь». Обнаружилось, однако, и значительное присутствие привезенной издалека морской рыбы – в том числе «сельди, трески и камбалы»; эта рыба, очевидно, попадала в дом Лютеров сушеной или соленой[9].

Еще больше информации принесло обнаруженное в том же 2008 году собрание кухонной утвари. Здесь нашлись *Grapen*, глиняные горшки о трех ногах – такие ставили прямо в огонь, – а также куда более редкие металлические *Grapen,* в ту эпоху столь ценные, что их даже упоминали в завещаниях. Найдены были и черепки от причудливых *Igelgefässe* (горшков-«ежиков»), и осколки стеклянных бокалов, кубков и рифленых винных чаш. Рукоятки ножей и все прочее также свидетельствуют, что семья Людеров принадлежала к верхушке среднего класса.

Археологи обнаружили и множество игрушек, которыми играли маленький Мартин и трое его братьев. Среди них – семь шариков, неровных и разного размера, возможно, сделанных вручную и обожженных в очаге фрау Людер. Говяжья кость с просверленной в ней дыркой: в дырку, скорее всего, заливался расплавленный свинец, и такие утяжеленные кости использовались как кегли. Игра в такие кегли изображена на заднем плане на знаменитой картине

[9] Andreas Stahl and Björn Schlenker, “Luther in Mansfeld: Excavations and Accompanying Architectural Research on Martin Luther’s Parents’ Home”, *Martin Luther and the Reformation: Essays,* ed. Gotha Stiftung Schloss Friedenstein (Dresden: Sandstein Verlag, 2016).

Брейгеля (Старшего) «Детские игры». Найден и *Pfeifvogel* (свисток) – «его можно было наполнять водой, и он начинал издавать трели». Найден даже любопытный предмет, который ученые считают миниатюрной копией «ореха» – части спускового механизма арбалета. Должно быть, он от игрушечного арбалета, с которым играли Мартин и его братья. Если так, к многочисленным образам Лютера в нашей культурной памяти можно прибавить еще один – маленький Мартин гоняется за братьями с игрушечным оружием: «Падай, ты убит!» Разумеется, у сыновей «бедных крестьян» таких сложных и дорогих игрушек не было и быть не могло[10].

Однако настоящая загадка этой огромной мусорной кучи – в том, что среди малоценных предметов в ней разбросаны и весьма ценные. Понятно, зачем выбрасывать рыбьи кости; но как оказались в груде мусора латунные пуговицы и наконечники шнурков, расшитый пояс с кошельком, даже несколько серебряных монет? Одна из современных теорий гласит, что около 1505 года, сразу после того, как Лютер вопреки отцовскому желанию постригся в монахи, в Мансфельд – как не раз случалось в те столетия – пришла чума. Считается, что она унесла жизни двоих братьев Мартина[11]. Согласно врачебным рекомендациям того времени всю одежду и белье человека, умершего от чумы, следовало сжечь. Из комнат мертвецов торопливо выносили все, что там было – и при этом ценные предметы могли смешаться с мусором и вместе с ним отправиться на помойку, чтобы много веков спустя загадать загадку археологам.

[10] Там же.

[11] Там же, 68–69.

Отношения Лютера с отцом

Еще одна басня, репьем прилипшая к истории Лютера, гласит: отец его, мол, был невероятно суров, вечно сердился на сына, так что в конце концов Лютер взбунтовался не только против земного, но и против Небесного Отца. Не приходится сомневаться, что не раз, когда сын выводил отца из терпения (а какому мальчишке не случалось выводить родителей из терпения?), Ганс Людер награждал его затрещинами – такой способ воспитания был в то время, как и почти во все времена и во всех культурах мира, обычным делом. Придавать этому какое-то особое значение было бы анахронизмом. Если бы телесные наказания такого рода в самом деле производили на детей столь глубокое впечатление, наш мир был бы полон Лютеров. Но нет: судя по всему, что нам известно, воспитывали Лютера точно так же, как всех мальчишек в то время и в тех краях. Наоборот, если бы стало известно, что отец Лютера жалел розог для сына – это был бы примечательный факт, на который стоило бы обратить внимание. Известно, что однажды отец наказал Мартина очень сурово, так что некоторое время юный Мартин – от страха или от обиды, это нам неизвестно – прятался от отца. Но и в этом, по тогдашним нравам, ничего необычного нет; герр Людер был не единственным суровым отцом своего времени – и уж точно не самым суровым. Сам Лютер позднее вспоминал о том, как дорогая и любимая матушка однажды избила его «до крови» за страшное преступление: он стащил со стола орех.

Упорное стремление изображать отца Лютера суровым, безжалостным человеком восходит почти исключительно к «Молодому Лютеру» – известному биографическому сочинению психоаналитика Эрика Эриксона, полагавшего, что именно отождествление собственного отца с мрачным Богом-судией вызвало предсказуемый и бессознательный приступ Эдипова комплекса, разорвавший западный христианский мир надвое. Эта идея Эриксона на десятки лет затуманила разум биографов Лютера; однако нет никаких причин считать эти измышления венской психоаналитической школы чем-то большим, нежели исторический курьез, место которому – рядом с книгами доктора Спока. То, что книга Эриксона, вышедшая в 1958 году, получила восторженные отзывы Маргарет Мид и Рейнгольда Нибура, лишь свидетельствует о стойкости предубеждений, распространенных в середине прошлого века. Об интеллектуальной и душевной жизни Лютера нам известно намного больше, чем о ком-либо из его современников – от Васко да Гамы до Генриха VIII, – так что все попытки навязывать ей подобные дурацкие интерпретации пригодны лишь на то, чтобы оставаться памятником псевдоинтеллектуальному вздору.

Быть может, самое странное в теории Эриксона то, что она не только дает многим фактам неверное и натянутое истолкование, стремясь подогнать их под свой шаблон, но и игнорирует множество фактов об отношениях Лютера с отцом, во времена Эриксона вполне известных и доступных. Сколько произошло между ними за много лет! Но из всего этого массива фактов Эриксон придирчиво и предвзято выбирает лишь то, что может послужить модной фрейдистской теории. Существует масса свидетельств о том, что Лютер любил отца, а его отец любил сына. Когда школьный приятель Лютера Ганс Рейнеке сообщил ему о смерти отца, Лютер написал в ответ: «Едва ли когда-нибудь я более, чем сейчас, ненавидел смерть». Известие это, говорил он, «погрузило меня в глубокую скорбь – не только потому, что он мой отец, но и потому, что он очень меня любил». Писал он и нечто большее: «Через него Создатель дал мне все, что имею, и сделал меня тем, что я есть»[12].

---

[12] Лютер в письме к Филиппу Меланхтону, 5 июня 1530 года, in WA Br 5:351, 20–27; Martin Luther, *Luther's Works (LW),* American Edition, 55 vols., ed. Jaroslav Pelican and Helmut T. Lehman (Philadelphia: Muehlenberg and Fortress, and St. Louis: Concordia, 1955–86), 49:318–19.

Школьные годы

Воспоминания Лютера о детских годах относятся почти исключительно к намного более позднему периоду его жизни. С женитьбы в 1525 году и до смерти в 1546-м Лютер и его жена Кати жили в бывшем августинском монастыре, в так называемой Черной Обители: вместе с ними обитали там на полном пансионе студенты, там же они часто принимали гостей. В какой-то момент студенты и гости принялись записывать то, что говорил Лютер. Эти записи составили множество томов и впоследствии получили название «*Tishreden*», или «Застольные беседы»: нередко одно и то же утверждение или история повторяются в них много раз, в изложении различных собеседников, так что в этих записях бывает нелегко разобраться. Кроме того, необходимо понимать, что в записях этих содержится не простое и беспристрастное изложение событий – нет: в них пожилой человек, любитель красного словца, зачастую раздражительный и гневливый, вспоминает в разговорах о чем-то, что сильно его задело и надолго врезалось в память. Учитывая все это, можем, однако, сказать: о своем школьном обучении Лютер вспоминал без всякой теплоты. Например, он рассказывал, что однажды утром, еще в младшей школе, получил пятнадцать ударов розгой за то, что не смог проспрягать один латинский глагол. Лютер поясняет: этот глагол в классе еще не проходили, он его знать не мог – но за ошибку учителей ему пришлось расплачиваться своей шкурой. В тексте 1524 года он также замечает, что, «несмотря на беспрестанную порку, дрожь, боль и страдания, не выучился я там ровным счетом ничему». Можно вынести общее суждение: для чрезвычайно умного и чувствительного мальчика, каким был юный Мартин Лютер, школа стала бесконечной и невыносимой пыткой.

Lingua franca в образованных кругах того времени была латынь, и от школьников требовали все время говорить по-латыни. Для понимания социального статуса Ганса, отца Лютера, стоит отметить, что сам он по-латыни не понимал – следовательно, если и получил какое-то образование, то совсем не того калибра, что его сын. В первой школе Лютера каждый день с латинского гимна начинался и другим латинским гимном заканчивался. Каждое утро учитель назначал одного из учеников *der Wolf* («волком»), в чьи обязанности входило «стучать» на школьников, говорящих по-немецки или еще как-либо нарушающих школьный распорядок. Тот, кто вел себя хуже всех, объявлялся *der Esel* («ослом»): весь следующий день он должен был таскать на шее, на веревочке, деревянную фигурку осла и терпеть от всех вокруг позор и поношение. Другие воспоминания Лютера о школе тоже, как на подбор, невеселы. Однако можно предположить, что хотя бы отчасти он преувеличивал, если вспомнить школьную поговорку того времени, демонстрирующую самое уважительное отношение к образованию и к учащимся. Поговорка эта гласила: «Пренебречь учеником – такой же грех, как растлить девицу».

Позднее Лютер рассказывал, что общая атмосфера страха перед учителем, царившая в школе, осталась с ним на много лет – так что, даже когда кто-то желал ему добра, он с трудом мог это понять и поверить. С этим Лютер прямо связывал иррациональный невежественный страх перед благим Богом, царивший в церквях и в богословии того времени, – и в связи с этим рассказывал один случай из детства. В то время у него на родине, пояснял он, повелось, что дети просили продавцов на рынке угостить их колбасой. (Так поступали не только бедные дети, как можно прочесть в иных старых биографиях Лютера – еще одна басня, которую нужно отделить от истины. Это был обычай, общий для всех детей.) Однажды какой-то добрый человек побежал за Лютером и его друзьями с колбасой в руках. Он хотел их угостить – но Лютер и его друзья бежали в страхе, уверенные, что этот *Hanswurst*[13] намерен сделать им что-то дурное. На этом примере Лютер показывал: даже когда Бог простирает к нам Свою любовь и благодать, мы, исполненные представлениями о Боге-суровом судье, готовом нас карать и наказывать,

[13] Гансвурст – комический персонаж немецкого фольклора того времени, изображался с ожерельем из колбас на шее.

нередко бежим от Его любящих объятий – и так, по трагической иронии, сами себе отказываем именно в том, чего желаем больше всего на свете.

Магдебург. Aetatis[14] 13

Осенью 1496-го или, возможно, весной 1497 года родители Мартина отправили его в школу в Магдебурге, в сорока милях к югу от Мансфельда. Было ему тогда тринадцать лет. В школу он уехал вместе с Гансом Рейнеке, сыном еще одного богатого и успешного горняка, с которым отец Лютера был приятелем[15]. Едва ли стоит сомневаться, что Ганс Лютер возлагал на сына большие надежды – и поздравлял себя с тем, что посылает его в школу, где Мартин как следует выучит латынь и заведет знакомства среди отпрысков богатых и влиятельных семей. Сам Ганс Лютер, судя по всему, напрягая все силы, карабкался вверх по социальной лестнице – или, по крайней мере, изо всех сил старался удержаться на той ступени, где ему повезло оказаться. Умный, даровитый, образованный сын, несомненно, должен был стать величайшим приобретением для всей семьи. Очень важным представлялось и то, чтобы сын завел связи среди «правильных» людей: поэтому, когда представилась возможность отправить его вместе с сыном Рейнеке в Магдебург, Ганс Лютер с радостью ей воспользовался. В Магдебургском архидиоцезе служил некий доктор Пауль Мосшауэр, родом из Мансфельда, состоящий в родстве с несколькими мансфельдскими горняками и рудоплавильщиками; благодаря его протекции и удалось устроить Лютера и Рейнеке в магдебургскую школу.

Магдебург оказал на Лютера глубокое влияние, в конечном счете сказавшееся в 1505 году, когда он сделался монахом. Здесь он поселился в *Nullbrüder* («Братстве Общинной Жизни»): это «братство» объединяло в себе благочестивых людей, не монахов, но ведущих практически монашескую жизнь. Они принимали к себе на пансион школьников и студентов. Жили довольно бедно, однако, в отличие от большинства настоящих монахов, не прибегали к попрошайничеству, а вместо этого зарабатывали себе на жизнь переписыванием книг, поскольку книгопечатание в те времена было распространено еще не слишком широко. Быть может, здесь Лютер впервые столкнулся с настоящим благочестием – и его готовность воспринимать Бога серьезнее, чем его сверстники, здесь впервые нашла себе подкрепление. Разумеется, знай отец, что сын его двинется в этом направлении, – ни за что не поселил бы его у *Nullbrüder!* Однако пока у него не было никаких причин видеть в Мартине что-либо иное, кроме почтительного сына, готового исполнять желания отца – а именно хорошо учиться, со временем стать доктором права и принести честь и славу своей семье.

За год, проведенный в Магдебурге, познакомился Лютер и с местной знаменитостью – принцем Вильгельмом Ангальтским, исхудалую фигуру которого можно было часто увидеть на улицах города. Вся семья его была очень религиозна: двое братьев стали священниками, сестра – монахиней. Но Вильгельм перещеголял их всех: он принял обеты францисканского ордена, поклялся жить в бедности и отринул всякие притязания на княжество своего отца. Как и основатель ордена, он оставил титул, презрел мирское богатство, чтобы следовать за Христом самым смиреннейшим из возможных путей, – прося милостыню на улицах.

Суровая фигура Вильгельма должна была производить на прохожих сильное впечатление. По обычаю странствующих францисканцев, он ходил повсюду с мешком за плечами. Известно было, что он у себя в монастыре он погружен в неустанные труды; а беспрерывные бдения и посты, вкупе с самобичеванием, превратили его в ходячий скелет. Умер он в 1504 году, не дожив и до пятидесяти. Позже Лютер писал: «Своими глазами видел я, как он, подобно ослу в упряжи, тащит свой мешок. Он так истощил себя бдениями и постами, что стал похож на череп – кожа да кости. Глядя на него, нельзя было не преисполниться стыда за собственную

[14] «В возрасте», лат. – прим. пер.

[15] Лютер и Рейнеке оставались друзьями на протяжении всей жизни.

жизнь»[16]. Образ Вильгельма, презревшего все ловушки мира сего, отказавшегося даже от княжеского престола, не мог не пленить чувствительного молодого человека, чей дар самоанализа, столь ярко проявившийся впоследствии, несомненно, уже в эти годы пробуждался – и ставил под вопрос ту стезю мирского благополучия, которую уготовил для Мартина отец.

[16] LW, 46:250.

Айзенах. Aetatis 14

В Магдебурге Лютер провел всего год, а затем отправился за семьдесят пять миль к юго-западу от Мансфельда, в город Айзенах. Здесь ему предстояло провести следующие три или четыре года и пустить корни; впоследствии он с нежностью говорил об «Айзенахе, милом моем городе». Здесь у Лютера было много родственников как с отцовской, так и с материнской стороны. Одна из самых популярных лживых легенд, выросших вокруг Лютера – история о том, как бедный мальчик, оказавшийся в Айзенахе, за много миль от родного дома, совсем один, вынужден был петь на улицах, чтобы заработать себе на хлеб. Одна вдова, – рассказывает дальше легенда, – пожалела бедное дитя и была так очарована его голосом, что пригласила мальчика поселиться у нее. Все здесь неправда, к тому же основанная на ложной предпосылке. В самом деле, во времена детства Лютера существовал обычай молодым людям в определенные праздники ходить от двери к двери, распевая песни и выпрашивая подаяние – однако этот обычай не особенно отличался от американской традиции празднования Хэллоуина или от восточноевропейских колядок. Занимались этим все подростки, а не только бедняки: они именовались *Partekenhengst,* что означает «собиратель *Parteken»,* то есть кусочков хлеба.

В то время Айзенах мог похвастаться тремя монастырями: доминиканским, картезианским и францисканским. Им соответствовали три прихода: святого Николая, святого Георгия и Девы Марии. Огромная церковь Девы Марии славилась двадцатью алтарями и бесчисленными реликвиями, в том числе обломком кости, будто бы принадлежавшей самой Марии. Паломники, посещавшие это святилище, верили, что взирают на освященную плоть руки, качавшей колыбель младенца Иисуса[17]. Лютер позднее называл этот город населением в четыре тысячи человек «гнездом священников и рынком клириков»[18].

В Айзенахе Лютер посещал приходскую школу при церкви святого Георгия; здесь он сблизился с одним из преподавателей, Вигандом Гюльденапфом, с которым сохранил связь на всю жизнь. Кроме того, здесь у него завязались отношения с двоюродным дедом Конрадом Хуттером, в прошлом попечителем церкви святого Николая.

В эти же годы подросток Лютер через общих друзей свел знакомство с видным местным семейством Шальбе – и несколько лет прожил в этой семье. Как раз в это время, в 1495-м и затем в 1499 году, Генрих Шальбе был в городе бургомистром. И снова мы убеждаемся, что Лютер отнюдь не бедствовал: уже в четырнадцать лет он был отлично устроен, вел жизнь состоятельного юноши с хорошими связями и блестящими перспективами. Семья Шальбе была не только влиятельна и богата, но и глубоко благочестива: Шальбе были основными покровителями местного францисканского монастыря. Именно жена Генриха Шальбе впервые заронила в сознание юного Лютера представление о том, что брак должен быть важным и необыкновенным событием. Порой она приводила на память стихотворную строку, которую Лютер вспоминал и много лет спустя: «Для тех, кому это дано, нет вещи на земле дороже, чем любовь женщины»[19].

В Айзенахе, где провел почти четыре года, Лютер подпал также под влияние отца Иоганна Брауна, в то время приходского священника в церкви Девы Марии. Браун был связан со школой святого Георгия и, по-видимому, нередко принимал школьников у себя дома: по всей видимости, там Лютер с ним и познакомился. Из их позднейшей переписки мы видим, что Браун, человек добрый и благочестивый, оказал на Лютера серьезное духовное влияние, и что он рано

[17] Hendrix, *Martin Luther,* 25.

[18] Brecht, *His Road to Reformation,* 18.

[19] Цит. по: там же, 19.

распознал в Лютере глубокий ум и чувствительную душу, на которую, несомненно, у Бога имеются какие-то особые планы и задачи, – от Лютера требуется лишь открыться для них.

Семья Шальбе не только научила Лютера тому, что Бог должен находиться в центре нашей жизни – и в гораздо более глубоком смысле, чем мог он усвоить это в Мансфельде, – но и впервые познакомила с мыслью, что у Церкви может быть темная сторона и что земные церковные институты, возможно, не вполне воплощают в себе Церковь, какой задумал ее Бог. Быть может, именно от отца семейства Генриха Шальбе Лютер впервые услышал о престарелом францисканском монахе Иоганне Хильтене, который в эти годы находился в Айзенахском монастыре в заточении за бесстрашную критику Церкви.

Как испытание святого Мартина в Вормсе (Борбетомагусе) в IV столетии выглядит неким странным предвестием событий жизни Лютера тысячу лет спустя – такое же странное пророчество можно усмотреть и в апокалиптических прорицаниях Хильтена. В своих писаниях Хильтен предсказывал, что в 1516 году восстанет вождь, который будет бороться за реформацию Церкви, победит и положит конец вековому владычеству монахов. Нам неизвестно, знал ли Лютер в то время о пророчествах Хильтена – но точно известно, что в последующие годы знал и относил эти пророчества к себе. Несомненно, это должно было поддерживать его в борьбе и укреплять величайшие его орудия – веру и мужество. Пророчествовал Хильтен и о том, что через сто лет христианскими землями овладеют мусульмане; так что в последующие десятилетия Лютер – учитывая точность предсказаний Хильтена относительно него самого – неминуемо должен был верить и этому и ощущать, что мы живем в последние дни, что антихрист уже на пороге и вот-вот в последней попытке победить устроит такой невообразимый хаос, который «даже избранных» введет в заблуждение.

Хильтен умер узником в монастыре в 1500 году, в возрасте семидесяти пяти лет, скорее всего от голода – трудно сказать, заморил ли себя голодом сам или ему в этом «помогли». Однако в его истории мы снова видим: мысль о святом, противостоящем Церкви, не была для того времени совершенно чуждой и невозможной. Не стоит поддаваться упрощенному взгляду на историю, согласно которому до пришествия Мартина Лютера Церковь была монолитна и лишена инакомыслия. То, что у Церкви много недостатков, что немалое число монахов, священников и иных клириков – гнусные алчные ханжи, едва ли могло никому не приходить в голову. Как это ни воспринимай, а миряне видели это своими глазами – и обсуждали, и выражали свои мысли по этому поводу как частным образом, так и публично. Им не хватало лишь «полководца», способного начать с Церковью бой – и победить.

В самом деле, серьезные проблемы Церкви стали притчей во языцех еще за много столетий до Лютера. Ко времени Лютера порча Церкви была широко известна. Не только разговоры о проблемах, но и громкие призывы к реформам слышались то тут, то там еще за века до виттенбергского монаха. Самый ранний пример, драматический и широко известный, относится к XIII веку, когда молодой дворянин по имени Франциск, впоследствии прославленный во святых, услышал глас Божий: «Мой дом лежит в руинах. Восстанови его!»[20]. И в период между Франциском и Лютером мы видим в Церкви немало фигур, пытавшихся изменить положение к лучшему – хоть и не всех из них восхваляли, как Франциска, а многих из-за их деятельности объявляли еретиками, отлучали от Церкви и даже сжигали на кострах.

В 1328 году в Англии родился Джон Уиклиф, во многих важных отношениях предшественник Лютера и будущих лютеровых реформ. Уиклиф агитировал за перевод Библии на английский язык, чтобы простые люди могли читать слово Божие, и сам перевел большую часть Нового Завета – хотя, разумеется, не на современный, а на среднеанглийский, язык времен

[20] Цит. по: Tuchman, *March of Folly,* 60.

Чосера[21]. Например, Ин. 3:16 в его переводе звучал так: *«For God louede so the world, that he ȝaf his oon bigetun sone, that ech man that bileueth in him perische not, but haue euerlastynge lijf»*.

Вместе с другими трудился Уиклиф и над переводом Ветхого Завета: страстно, как и Лютер, стремился он к тому, чтобы каждый мог читать Благую Весть на своем родном языке. «Христос и апостолы Его, – говорил он, – учили народ на том языке, который их слушатели лучше всего знали. Почему бы не поступать так и сейчас?» Разумеется, печатный станок был изобретен лишь в 1450 году, и первой печатной книгой, вышедшей в 1455 году, – знаменитой Гутенберговой Библией, – стала латинская Вульгата. Несомненно, имевшаяся у Лютера возможность печатать и широко распространять в массах свой немецкий перевод Библии оказала ему огромную услугу в деле Реформации, к которой стремился и Уиклиф.

Как и Лютер в более поздние времена, Уиклиф выступал против монашества, священничества как особой касты и даже против пресуществления Тела и Крови Христовых – в основном по тем же причинам, что и Лютер 150 лет спустя. Высказывался он и против богатства Церкви, и даже – достаточно жестко – против папства. Когда в Англии произошло крестьянское восстание, парламент и английская Церковь обвинили Уиклифа в том, что это его учение воспламенило восставших – так же как впоследствии и Лютера обвиняли в разжигании Крестьянской войны. В 1384 году Уиклиф умер от удара, прямо во время богослужения; однако Констанцский Собор 1415 года посмертно объявил его еретиком, а в 1428 году кости его были извлечены из могилы и сожжены, а пепел развеян над рекой Свифт, протекающей через английскую деревушку Люттеруорт[22].

Еще одним реформатором до Лютера стал богемец Ян Гус, родившийся в 1369 году, богослов из Пражского университета. Гус, испытавший сильное влияние Уиклифа, резко выступал против индульгенций и папства, особенно критикуя папу за использование военной силы – ведь Церковь не должна носить меч. На Констанцском Соборе Гус был осужден как еретик и в 1415 году сожжен на костре. Однако последователи его, так называемые гуситы, продолжали существовать и после его смерти.

И в самом Ватикане многие ясно понимали, насколько испорчена и развращена Церковь и как нуждается она в реформировании. Сразу после смерти Пия II в 1464 году епископ Доменико де Доменичи выступил с резкой критикой папства: миряне, говорил он, называют Церковь «блудницей Вавилонской, матерью всех преступлений и прелюбодеяний земных». Он призывал «восстановить достоинство Церкви, воскресить ее авторитет, исправить нравы, вернуть порядок в папскую курию, защитить справедливость, умножить веру»[23]. Более того, христианскому миру угрожали дьявольские турецкие орды – и Доменико, как и многие другие, понимал: если ничего не исправить, скоро весь христианский мир подпадет под иго магометан. Однако эти мрачные пророчества не имели никакого действия – с тем же успехом можно было проповедовать Нерону или Калигуле о вырождении Рима и визиготской угрозе. После избрания папы Сикста IV в 1471 году Рим уже не шел – семимильными шагами бежал к катастрофе. Как и предшественники его, и преемники, в призывах к реформам Сикст IV слышал лишь надоедливую угрозу своей власти – и топтал их своими алыми бархатными туфлями. С теми, кто призывал реформировать Церковь, обходились как с назойливыми мухами: отмахивались или давили.

Нравственно зараженная среда Ватикана времен Медичи, казалось, существовала лишь для того, чтобы давать материал будущим сценаристам телесериалов. Например, флорентий-

---

[21] К современному английскому лингвисты относят английский язык, начиная с Шекспира и его современников (XVI век) и до наших дней. Язык Чосера называют среднеанглийским, язык «Беовульфа» (XI век) – староанглийским.

[22] В мире, где верили, что всех христиан, захороненных на освященной земле, ожидает телесное воскресение, лишить тело христианского погребения и навеки уничтожить огнем было страшной карой – ведь это означало, что мертвый не сможет воскреснуть.

[23] Цит. по: там же, 56.

ская семья Пацци, испив полную чашу злодеяний Медичи, задумала убить разом и Джулиано, и Лоренцо – во время церковной службы. Решение было чисто практическое: именно в церкви их вернее всего можно было встретить без защиты. Сигналом для вооруженного кинжалом *assassino* стал колокол, возвещающий самую святую минуту мессы – вознесение Святых Даров. При этом священном сигнале убийца бросился на врагов – и Джулиано немедленно встретился со своим Создателем, а вот Лоренцо выжил и продолжил злодействовать дальше.

В те годы, когда юный Лютер учился в Айзенахе, папой в Риме был Александр VI Борджиа – быть может, самый порочный из всех порочных понтификов на дне той пропасти, в которой покоился институт папства. В то, что он вытворял, порою трудно поверить. Когда умер его предшественник Иннокентий VIII, Александр, метивший на папский престол, отказался от закулисных переговоров с кардиналами – обычной коррупционной практики того времени; вместо этого он попросту устранил соперников, заплатив им всем отступные. Рассказывают, что четыре мощных мула тащили на себе тяжеленные короба, доверху набитые серебром. С этой богатой поклажей отправились они от роскошного дворца Родриго Борджиа ко дворцу его главного соперника Асканио Сфорца – и там оставили свой драгоценный груз. Еще в бытность кардиналом будущий папа времени даром не терял – стал отцом семерых детей, предсказуемо признанных незаконнорожденными. Однако теперь, получив в руки огромную папскую власть, он запросто мог «узаконить» любого, кого считал нужным. Все, что для этого требовалось – поставить подпись на папской *булле*[24]. Так, одним росчерком священного пера святого Петра, *bastardi* чудесным образом превратились в добропорядочных граждан – и, более того, вступили в эксклюзивный клуб законных детей римских пап. Перед самым вступлением на папский престол пятидесятидевятилетний Александр завел себе новую любовницу: некую Джулию Фарнезе, сорока тремя годами его моложе, уже в шестнадцать лет прославленную сказочной красотой, особенно каскадом золотых волос, ниспадающих до самого мраморного пола Ватикана. Иные называли ее «папской шлюхой», но люди более остроумные – или осторожные – именовали «невестой Христовой».

[24] Итальянское слово «булла» происходит от латинского *bulla*, означающего печать на важном документе. По смежности значений документы с большими официальными печатями стали и сами называться «буллами».

Эрфурт. Aetatis 17

В 1501 году, в семнадцать лет, для Лютера настало время поступать в университет. Рудоплавильное дело давало его отцу достаточно денег, чтобы оплатить учебу сына. Должно быть, с неописуемой гордостью Ганс Лютер снаряжал своего старшенького в знаменитый Эрфуртский университет. «Дорогой мой отец, – вспоминал позднее Лютер, – поддерживал меня всеми силами, и только трудами рук его я смог поступить в университет». Во многих смыслах это была кульминация всех усилий отца: всего несколько лет – и Лютер получит степень по юриспруденции, открывающую дорогу к дальнейшим свершениям, затем вернется в Мансфельд, найдет себе подходящую жену из какого-нибудь респектабельного местного семейства и станет практикующим юристом, активно помогающим отцу в его деловых предприятиях…

Распорядок в университете был, по нашим стандартам, достаточно суровый: в четыре утра студенты поднимались на молитву, в восемь вечера отходили ко сну. Все они жили в общежитии, так называемой *бурсе*[25] – таких бурс в Эрфурте было шесть. В день полагалось две трапезы: первая – в десять утра, после четырех часов упражнений и лекций. После этого завтрака занятия продолжались до пяти вечера. Лютер, по-видимому, жил в бурсе под названием «Врата рая», где на утренних молитвах за каждые пятнадцать дней прочитывали всю Псалтирь – так что за четыре года пребывания в Эрфурте псалмы он должен был выучить наизусть. Также и за завтраком, и за обедом студентам читались вслух отрывки из Вульгаты, а иногда – «*Postillae*» Николая Лирского, экзегетические комментарии на Библию, о которых Лютер и много лет спустя отзывался очень высоко и активно ими пользовался, создавая свой перевод книги Бытия. Логично предположить, что уже в те юные годы священные слова, слышанные Лютером, оставляли глубокий след в его сердце. Очевидно, в этом была одна из причин, приведших к тому, что вопросы о Боге он воспринимал куда глубже и серьезнее среднего эрфуртского студента, и трудно сомневаться: даже если прежде Лютер об этом не задумывался, – в то время он начал подумывать о принятии монашеских обетов.

[25] *Bursa* – слово латинское, означающее сумку или кошелек. Используется этот термин и в современных университетах [англоязычных – прим. пер.], где казначей или завхоз именуется bursar.

Гуманизм

Именно в Эрфурте, изучая философию, Лютер впервые познакомился с новым и модным интеллектуальным движением – гуманизмом[26], которому были преданы здесь многие профессора и студенты. Среди профессоров можно назвать Бартоломея Арнольди Узингена и Йодокуса Трутфеттера, с которыми Лютер поддерживал связь на протяжении многих лет. А среди студентов – молодого человека по имени Георг Буркхардт, сына дубильщика из баварской деревни Шпальт. Несколько лет спустя этот Георг последовал примеру большинства гуманистов того времени, бравших себе латинские или греческие имена. Буркхардт латинизировал название своей родной деревни – и приобрел известность как Спалатинус или, в немецком варианте, Спалатин: под этим именем и узнал его Лютер. В будущем Спалатин станет ближайшим другом Лютера и одним из важнейших героев нашей истории. Но пока до этого далеко – они просто знакомы.

Несколько столетий в средневековой Европе господствовала школа мысли, известная как схоластика. Главные схоласты – Дунс Скот, Уильям Оккам (создатель пресловутой «бритвы») и Фома Аквинский. В наше время большинство людей воспринимает схоластику как теоретизирование, безнадежно оторванное от практических жизненных проблем. Образ ученых, которые, запершись в башне из слоновой кости, пресерьезнейшим образом обсуждают ничтожные и смехотворные философские парадоксы – словно не замечая, что турки взяли Константинополь и угрожают всему христианскому миру, – запечатлен в классическом вопросе: «Сколько ангелов может уместиться на кончике иглы?» Это не шутка, не преувеличение – схоласты в самом деле серьезно об этом спорили. Кроме того, в схоластический период студентам предлагалось читать вместо самой Библии «Сентенции» Петра Ломбардского, комментарии на отдельные части Писания – или даже примечания Дунса Скота к «Сентенциям» Петра. Им, так сказать, предлагали играть с черепицей на крыше, и они играли, ничего не зная ни о доме, ни о фундаменте дома да и не обращая на него никакого внимания.

По иронии судьбы, именно падение Константинополя в 1453 году под ударами мусульманских агрессоров привело к тому, что схоластика в Европе встретилась с достойным противником. Бесчисленные византийские ученые бежали из своей порабощенной страны в Европу: результатом этого стало великое возрождение греческих и латинских исследований, приведшее к тому, что мы теперь называем возрожденческим гуманизмом. Девизом его было: *ad fontes* – назад к первоисточникам! Впервые за много столетий перед европейскими учеными открылись огромные, завораживающие возможности – и прежде всего возможность вернуться к корням христианской веры. Опираясь на первоисточники, можно было исследовать любые спорные вопросы или опровергать общепринятые учения. Само слово «Возрождение» указывает на то, что речь шла не просто о возвращении к древним оригинальным источникам – скорее уж о том, что эти источники получили новую жизнь, ибо знания, накопленные за много веков университетских штудий, ученые теперь прикладывали к этим древним текстам. Много столетий тексты эти пребывали в забвении, иные даже считались навсегда утраченными; но вдруг двери растворились, и на ошеломленных европейцев хлынул поток новых знаний. Кто знал, что можно найти в этой древней сокровищнице?

В центре всех этих новых открытий стояла, разумеется, Библия. Мир схоластики чрезвычайно отдалил Библию от верующих – даже от монахов; и даже те, кому позволялось читать отрывки из Библии, пользовались латинской Вульгатой, порой затемняющей смысл оригиналь-

[26] На протяжении всей этой книги, говоря о гуманизме, мы имеем в виду возрожденческий гуманизм, не совпадающий с более привычной нам современной, сугубо светской версией гуманизма.

ного текста[27]. Однако изначально Ветхий Завет был написан на древнееврейском, а Новый – на греческом, и в латинском переводе было немало неточностей и смысловых ошибок, много веков передававшихся из поколения в поколение. В восстановлении греческого Нового Завета важнейшую роль сыграл Эразм Роттердамский: именно благодаря ему писания первых христиан – изначальные, без всяких прикрас – стали доступны новому поколению. Из тех, кто устремился на эти давно забытые пути, одной из самых заметных фигур был сам Лютер – и именно с восстановленным греческим Новым Заветом Эразма сверялся он много лет спустя, переводя Новый Завет на немецкий. Но пока все это было лишь волнующей возможностью. Несомненно, уже в университете Лютер задавался вопросом о том, какие еще неоткрытые сокровища прячутся в оригинальных текстах и сможет ли его беспокойная душа найти успокоение в первоисточниках.

В Эрфурте впервые ярко засияли дарования Лютера. До этого мы не слышим о нем ничего примечательного; если и были у него какие-то успехи в учебе, сведения о них до нас не дошли. Но после всего трех семестров в Эрфурте Лютер защищает бакалавриат: экзамены на степень бакалавра он прошел 29 сентября (в день святого Михаила) 1502 года. Теперь настало время более серьезных занятий – Лютеру предстояло стать магистром. Много лет спустя его будущий коллега Меланхтон сообщит, что, по рассказам многих студентов, учившихся вместе с Лютером, с этого времени талант его стал «чудом для всего университета». Экзамены на магистерское звание он был готов сдать уже в декабре 1504 года; однако для получения магистерской степени кандидат должен был достичь двадцати двух лет. Точного года своего рождения Лютер не знал, и, возможно, поэтому для него допустили послабление. Если он родился, как мы предполагаем, в 1483 году, значит, за месяц до того ему исполнился двадцать один год. Магистерские экзамены Лютер сдал в январе 1505 года, сразу после Богоявления[28].

Итак, Лютер получил степень магистра свободных искусств (*magister artium*), заняв на экзаменах второе место из семнадцати, получил магистерское кольцо и вожделенную бордовую биретту. Сделаться магистром – для сына горняка это было серьезное достижение! Получение ученой степени поставило Лютера в привилегированное положение даже в собственной семье – ведь ни отец его, ни предки с отцовской стороны в университете не учились. Подумать только – сын Ганса Людера получил ученое звание в одном из самых блестящих университетов мира! С этих пор отец Лютера обращался к сыну уже не на «ты» (*du*), а официально и с уважением – на «вы» (*ihr*).

«Что за торжественный, радостный миг, – вспоминал Лютер много лет спустя, – когда получаешь магистерскую степень, и перед тобой несут светильники, и воздают тебе почести! Думаю, никакая иная временная или мирская радость с этим не сравнится». Конная процессия, блеск факелов, общий торжественный и радостный настрой – все это произвело на него глубокое впечатление, сохранившееся до конца жизни. И через много лет, вспоминая это чествование, Лютер восклицал: «Вот так следует праздновать нам и сейчас!»[29]

---

[27] Вульгата – это латинский перевод Библии IV века; к XVI веку он стал единственной официальной версией Библии, используемой Католической Церковью. В основном перевод принадлежит святому Иерониму Стридонскому. Слово «вульгата» происходит от латинского *vulgaris*, что означает «общий», «общеупотребительный».

[28] Julius Koestlin, *Life of Luther* (Charlestone: BiblioBazaar, 2008), 31.

[29] Oberman, *Luther,* 113.

Перед ударом молнии

Получив магистерскую степень, Лютер готов был начать изучение юриспруденции. Вплоть до этой жизненной вехи он точно выполнял отцовские ожидания – и теперь готовился преодолеть последнюю ступень и стать юристом. Но, может быть, именно в это время он начал задумываться о том, чего же хочет на самом деле. Быть может, его поразила окончательность, непоправимость предстоящего ему выбора. Нам неизвестно, задумывался ли Лютер до тех пор о монастыре – но, скорее всего, задумывался; и на этом этапе мысль о монастыре должна была перейти из разряда фантазий в категорию серьезных жизненных вопросов, требующих решать и выбирать. В любом случае, привычный нам рассказ о том, как, напуганный раскатами грома и ударами молний под Штоттернхаймом, Лютер внезапно решил уйти в монахи, – едва ли составляет всю историю. Как и большая часть романических, идеализированных сюжетов из жизни Лютера, это скорее народная легенда, чем строгий факт. Однажды, пораженный ужасом, Лютер опрометчиво дал обещание, которое из чувства долга волей-неволей пришлось выполнять… очень сомнительно, что так оно и было.

Итак, Лютер собирался изучать право и стать юристом – и наконец прошел через последнюю дверь на пути к своей цели. Он приобрел «*Corpus Juris*» – огромный и дорогой том, необходимый каждому будущему юристу – и, казалось, непоколебимо шел своим путем. Однако думается нам, что, помимо выбора карьеры, душу Лютера в то время волновало и многое другое. Современному человеку легко забыть о том, что во все времена, равно как и в наше, над каждым постоянно висит угроза безвременной смерти – и человек думающий или чувствительный (а Лютер обладал обеими этими добродетелями) едва ли в силах об этом забыть. Уже в Эрфурте начало поднимать голову *Anfechtungen*[30] – мрачное умонастроение, которое в будущем принесет столько печально известных страданий Лютеру-монаху. Уже тогда Лютер начал с тревогой спрашивать себя, какова будет его судьба в вечности: случись ему внезапно умереть – примет ли его Бог в любящие объятия или, что куда вероятнее, вонзят в него свои когти и потащат за собой в вечный огонь безобразные черти.

И снова повторю: стремясь представить себе, чем жили и как мыслили люди позднего Средневековья, необходимо отложить не только современные материалистические предрассудки, но и столь же анахронистическое представление, что в Боге можно видеть лишь неизменно любящую, доброжелательную фигуру. В дни Лютера Бога куда чаще представляли себе как вечного судию, чью святость мы почти беспрерывно оскорбляем своим поведением – и лишь при большом везении можем после смерти оказаться в чистилище, а не в аду. И даже в чистилище нам предстоят долгие болезненные испытания, в течение тысяч и даже миллионов лет – пока мы наконец не очистимся от греховности, пропитавшей нас насквозь. И кто знает, какие ему предстоят посмертные муки? Лютер был слишком умен, чтобы просто отмахиваться от этих вопросов – и слишком чувствителен, чтобы о них не тревожиться. Тревога эта не давала ему покоя, изнуряла и погружала в состояние, которое сам он называл *Anfechtungen* – в мрачное, парализующее уныние. У слова *Anfechtung,* в сущности, нет адекватного перевода. Корень у него тот же, что у глагола *fechten,* означающего «защищаться» или «вести поединок». *Fecht,* очевидно, родственен английскому «*fight*» – «сражаться». Итак, *Anfechtungen* Лютера – борьба с собственными мыслями и с дьяволом. Однако нам трудно в полной мере уразуметь, сколь ужасна была для него эта борьба.

Некое представление об этом могут иметь люди, страдающие депрессией. По описаниям самого Лютера, мы представляем себе какую-то черную дыру полнейшего отчаяния, расширяющуюся, поглощающую весь мир; все громче доносятся оттуда, перебивая друг друга, голоса

[30] Немецкое слово, которым Лютер называл свою депрессию и тревогу.

злых духов, обвиняющих грешника в тысяче разных преступлений; все их обвинения справедливы – или, по крайней мере, похожи на правду; и выхода нет. Именно такие ощущения на протяжении веков толкали глубоко верующих людей к самоубийству. Это безнадежность, ставшая явью, или, по знаменитому выражению Мильтона, «видимая тьма»[31] – выражение, которое писатель Уильям Стайрон использовал как название пронзительного рассказа о собственной депрессии[32]. Можно вспомнить и слова, начертанные на вратах дантовского Ада: «Оставь надежду, всяк сюда входящий»[33]. Итак, *Anfechtungen* для Лютера представлял живую картину самого ада, кошмарного места, где ты полностью забыт Богом и безнадежности нет конца. Нет, быть может, все даже хуже! Быть может, это не живая картина ада, а сам ад, черное щупальце, которое тянется к Лютеру из-за края мира и рано или поздно обовьет его и утащит в шеол! Просто отмахнуться от такого Лютер не мог. Так или иначе, он должен был понять, что с ним происходит, и получить твердые, убедительные ответы. Брезжила ли уже эта идея на задворках его сознания или ей предстояло проклюнуться лишь через несколько лет – мы не знаем; но, несомненно, в какой-то момент его должна была поразить мысль, что, если эту загадку вообще возможно разгадать, ключи к ней следует искать в Библии. Однако изучать Библию у него не было возможности. Изучать приходилось юриспруденцию. Но едва ли можно сомневаться: *Anfechtungen,* эта глубокая и неутолимая душевная мука, после первых мучений и метаний должна была вызвать у него страстное, неутолимое желание разрешить эту проблему и раз и навсегда положить ей конец. Он верил, что это возможно. Возможно для того, кто верит. И если, читая следующие главы этой книги и изучая дальнейшую жизнь Лютера, мы спросим себя, что же давало ему силы пробовать снова и снова там, где прочие терпели неудачу, ответ будет: отчаяние. Лютер не признавал «успокоительных» ответов и не боялся погибнуть на костре. Костер был ему не так страшен, как *Anfechtungen* – несказанные мучения души, предвестие неизбежных адских мук. Он смело шел вперед, преисполненный решимости найти ответ на свой вопрос – или погибнуть в пути.

За год до начала юридических занятий, в 1504 году[34], когда Мартин отправился на Пасху домой в Мансфельд, с ним произошел несчастный случай: студенческая шпага (в те времена многие студенты ходили со шпагами) пропорола ногу, и очень неудачно, задев артерию. Началось кровотечение, явно угрожающее жизни, и спутник Лютера бросился в ближайший город за врачом. Лютер лежал один посреди поля, судорожно зажимая рану руками, чтобы остановить кровь, и гадал, доживет ли до вечера. Он прекрасно понимал, что может умереть прямо сейчас – и воззвал к Деве Марии, моля пощадить и сохранить ему жизнь. Наконец появился врач и зашил рану. Однако зашил, как выяснилось, плохо: той же ночью, когда Лютер лежал в постели, рана открылась, и он снова едва не истек кровью. И снова Лютер в страхе за свою жизнь воззвал к Деве Марии, моля о пощаде – и снова выжил; однако рана оказалась серьезной, и немало дней пришлось ему провести в постели, в размышлениях о том, какой опасности он едва избежал. Ранение позволило ему отдохнуть и хорошенько подумать о том, как дважды за одни сутки заглянул он в черный провал смерти[35].

Размышления Лютера о смерти в эти годы не могли не обостриться, когда умерли, один за другим, несколько человек, которых он знал. В апреле 1505 года, а затем несколько месяцев спустя чума – частая гостья в Германии того времени – унесла жизни двух молодых эрфуртских юристов. Двое молодых людей, выбравших тот же путь, что и сам Лютер, умерли скорой и безвременной смертью: глядя на это, нельзя было не задуматься о том, правильный ли он выбрал

---

[31] John Milton, *Paradise Lost,* bk. I, line 63.

[32] William Styron, *Darkness Visible: A Memoir of Madness* (New York: Random House, 1990).

[33] Dante Alighieri, *Inferno,* in *The Divine Comedy,* trans. Henry F. Cary (New York: P. F. Collier & Son, 1909), canto 3, line 9.

[34] Впрочем, возможно, этот случай произошел в 1503 году.

[35] Впрочем, не все было так мрачно: во время выздоровления Лютер не только предавался тревожным размышлениям, но и научился играть на лютне.

путь. Что, если и ему придется внезапно покинуть этот мир? Готов ли он к тому, что ждет впереди? Позднее Лютер рассказывал, что оба молодых юриста восклицали перед смертью: «Лучше бы я стал монахом!»[36] Выходит, они понимали, что на кону стоит вечное спасение – и в кошмарном свете разверзшейся перед ними огненной пропасти ясно видели, что напрасно выбрали в жизни мирскую дорогу, и горько об этом жалели! Несомненно, Лютер был на заупокойных службах по обоим умершим. Если же и этих смертей было недостаточно – от чумы погибли еще двое, и куда более ему близкие: смерть унесла двоих его товарищей-студентов. Один из них, Иероним Бунтц, принимал участие в магистерских экзаменах Лютера.

В таких-то сомнениях в июне 1505 года Лютер возвращался домой, в Мансфельд. О чем именно он думал и на что надеялся в эти дни, нам узнать неоткуда. Быть может, просто хотел отдохнуть от занятий и от тягостных мыслей, не дававших ему покоя. Может быть, надеялся собраться с храбростью и объявить отцу, что сомневается в правильном выборе своего жизненного пути. А может быть, инициатором поездки выступил отец – возможно, он вызвал сына домой по какой-то причине, которой мы уже никогда не узнаем. Некоторые предполагают даже, что теперь, когда учеба Лютера подходила к концу, отец вознамерился женить его на подходящей девушке из Мансфельда, возможно, дочери какого-нибудь его делового партнера. Всего этого мы не знаем – но точно знаем одно: на обратном пути из Мансфельда в Эрфурт, на этой дороге в пятьдесят три мили длиной, с Лютером произошло то, что навсегда изменило его жизнь.

[36] Brecht, *His Road to Reformation*, 45.

Глава вторая
Удар молнии

Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию[37].
Иисус из Назарета

Неподалеку от деревни Штоттернхайм, в поле возвышается скромный на вид красный монолит – памятник тому, что произошло на этом месте во второй день июля 1505 года. В этот жаркий и влажный летний день Мартин Лютер, утомленный долгим путешествием, всего в шести милях от Эрфурта был застигнут внезапной и страшной грозой. Ехал он верхом, но, видимо, на этом месте спешился. С неба низвергались потоки воды, выл ветер, оглушительно гремел гром, молнии сверкали над головой – и Лютер затрепетал при мысли, что в любой миг может, как и многие другие, застигнутые бурей, мгновенно лишиться жизни. Смерть и ад предстали перед ним, реальные и ощутимые, как никогда – и молодой человек (Мартину был двадцать один год от роду) был глубоко потрясен этой мрачной перспективой. Буйство природы повергло его в ужас, самые мрачные признаки проклятия и вечных мук предстали перед ним – реальные, как бушующая гроза, но во много раз более страшные. Тревога и страх сделались невыносимы. Когда молния ударила в землю совсем рядом с ним, Лютер в ужасе повергся наземь и вскричал: «*Hilf du, Sankt Anna!*» – «Помоги мне, святая Анна!» А затем выкрикнул в ветер и в дождь слова, которым предстояло изменить и его жизнь, и судьбы всего мира – слова, которых никто, кроме него самого, не услышал: «*Ich will ein Mönch werden!*» – «Я стану монахом!» Таков был его обет: если святая Анна поможет ему – поможет пережить этот ужас, – он отплатит за ее великую милость, приняв святые обеты, навеки покинув мир и посвятив остаток своих земных дней Богу.

Лютер не погиб в тот день под Штоттернхаймом. Гроза миновала; он поднялся, пошатываясь, с мокрой земли – и побрел в Эрфурт, к своим занятиям. Однако того, что произошло, он забыть не мог. Он был серьезным и благочестивым молодым человеком; и он поклялся святой матери святой Матери Божьей – а следовательно, самому Богу, – что станет монахом. Значит, он должен стать монахом. Иного пути теперь нет.

Что за мысли проносились в его уме в тот последний час путешествия – за шесть миль, отделяющих его от Эрфурта и от прежней жизни, которую он только что обещал навеки покинуть? Радовался ли он происшедшему? Или страшился того, что совершил, понимая, что данная им клятва нерушима и неотменима? Быть может, искал какие-то лазейки, чтобы отозвать свое обещание? Этого мы никогда не узнаем. Известно нам вот что: вернувшись в университет, он рассказал о случившемся товарищам-студентам, и все они старались его отговорить. Но юноша был непоколебим. Чтобы упрочить свое решение, он даже продал свой «*Corpus juris*».

Однако самой трудной частью его задачи, несомненно, оставалось объяснение с отцом. Не приходилось сомневаться: отец будет глубоко разочарован и придет в ярость. Потрясенный, чувствуя себя преданным, он будет рвать и метать и сделает все, что в его силах, чтобы заставить сына передумать. Вспомнить только, как рвал жилы Ганс Лютер, чтобы дать сыну образование! И вот, в шаге от заветной цели – цели, важной не только для Мартина, но и для всей семьи, цели, ради которой отец его тяжело трудился и шел на жертвы, – Мартин вдруг, словно рассудок потеряв, от всего отказывается, все выбрасывает в выгребную яму и идет в монахи. В монахи! Что станет с отцом при таком известии? Задача эта ужасала Мартина, и

[37] Лк. 10:18 (New International Version).

он решил обойти ее кружным путем: просто поступить в монастырь, а отцу сообщить об этом уже задним числом, «по факту».

16 июля, ровно через две недели после штоттернхеймской грозы, Лютер пригласил друзей на грандиозный прощальный ужин. Даже там друзья продолжали отговаривать его от рокового шага. Но он поклялся – и должен был исполнить обет. «Сегодня вы видите меня в последний раз! – восклицал он с драматичностью, вполне понятной для молодого человека в таких обстоятельствах. – Не увидеть вам меня больше!» На следующий день ему предстояло отправиться в дорогу, которая уведет очень далеко от мира, предназначенного ему отцом, – да и вообще от мира сего. Но мог ли Лютер вообразить в этот решающий миг, что путь этот заведет в такие дебри, о которых тогда он и помыслить был не в силах? Он пойдет туда, куда не хочет идти; путь его станет для многих возвышением и падением. Он породит войны и революции, перекроит очертания стран и империй, окрасит будущее в невообразимые цвета. Но все это впереди – а сейчас Лютеру предстояло стать монахом.

На следующее утро в сопровождении нескольких друзей (и друзья эти даже сейчас уговаривали его передумать!) молодой человек явился к дверям Эрфуртской обители августинцев и объявил о своем желании принять святые обеты. Почему он выбрал именно августинцев, а не доминиканцев, францисканцев или бенедиктинцев, мы не знаем. Говорят, что августинцы в Эрфурте были известны строгим уставом – возможно, это его привлекло. Кроме того, славились они своей любовью к богословию – быть может, привлекательным показалось и это. Но все это лишь предположения. Свидетельства из первых рук у нас нет. Однако нам легко представить, как монастырский привратник спрашивает Лютера, зачем он пришел в монастырь, услышав ответ, говорит, что должен сообщить об этом настоятелю, и просит подождать. Затем, должно быть, выходит сам настоятель, Винанд фон Диденхофен, вводит молодого человека в монастырский храм, подробно расспрашивает о его намерениях и выслушивает его полную исповедь. Убедившись, что Лютер в здравом уме и намерения его серьезны, настоятель приглашает его остаться в монастырском доме для гостей, который стоит в Эрфурте и поныне[38].

На этой стадии Лютер стал так называемым послушником. От принятия монашества его отделял довольно продолжительный период ожидания, включавший в себя, среди прочего, частую и подробную исповедь. Однако через некоторое время этот «испытательный срок» окончился – и настал великий день. Лютера снова ввели в монастырский храм: на этот раз здесь собрались все монахи, бывшие сейчас в монастыре. Настал великий миг. Юноша, стоящий перед ними, совершал тот же шаг, что совершили когда-то и они сами: иные – недавно, другие – много лет назад. В этот день Лютер официально отрекся от мира за стенами монастыря – навеки, необратимо; так он исполнил обет, принесенный в июле близ Штоттернхайма, во время грозы.

Во время пострижения послушник Лютер склонялся перед настоятелем и простирался ниц перед алтарем на каменном полу монастыря, сохранившемся и по сей день. В нескольких шагах от молодого Лютера покоились кости Андреаса Захариаса – самого известного из здешних монахов, останки коего пользовались в монастыре особым почитанием. За сто лет до того на Констанцском Соборе именно Захариас особенно рьяно нападал на учение богемца Яна Гуса – и, как говорят, именно с его подачи и по его настоянию Гус был вскоре сожжен на костре. Более всего беспокоил Гуса институт папства: он настаивал, что христиане должны следовать не за тем или другим человеком, а за одним лишь Христом. Говорил он и о том, что на Евхаристии мирянам необходимо предлагать и хлеб, и вино – так же, как делал Иисус в Евангелиях, – и что предложение хлеба и вина только священникам создает между мирянами и клиром некое ложное разделение. Гус решительно выступал против такого отделения клира от мирян, говоря, что в Новом Завете для него не находится никаких оснований. Со временем

[38] Это старейшее здание в современном Эрфурте, построенное в 1277 году.

и Лютер пойдет по стопам этого прославленного мученика – будет фактически повторять его учение; и поистине странна ирония судьбы: свою монашескую жизнь он начал с простирания ниц перед почитаемыми костями того самого человека, что зажег под Гусом огонь.

Настоятель Диденхофен спрашивал послушника Лютера, готов ли он в самом деле возложить на себя тяжелые монашеские обеты, и красноречиво описывал те лишения и испытания, что ждут его впереди. Все это Лютер слышал – и отвечал серьезно и торжественно: да, готов. На случай, если бы Лютер верил, что одним вступлением в монастырь уже достиг спасения, Диденхофен с величайшей серьезностью предупредил, что это не так: «Не всякий, кто вступил на этот путь, но лишь претерпевший до конца спасется»[39]. Иными словами, двадцатидвухлетний монах стоял сейчас лишь у подножия великой семиярусной горы, которую ему теперь предстояло преодолеть[40].

Итак, теперь Лютеру предстояло всеми силами разума и души стремиться к спасению, неустанно исполнять все предписанные правила, не отступать от них ни на йоту… и потерпеть на этом пути поражение. В жажде прикоснуться к небесам будет он взбираться на Вавилонскую башню – и, великими трудами и усилиями достигнув вершины, убедится, что не приблизился к небу ни на шаг. Тогда он поймет: либо для человека вовсе нет пути к Богу – либо путь этот совсем не тот, какому научены он сам и тысячи его современников. Или спасение невозможно вовсе, или вся эта система – в том числе и грозный, пугающий Бог на ее вершине, – не что иное, как дьявольский обман. Все проще некуда. Но какие муки придется перенести Лютеру, чтобы прийти к этому простому выводу! В знаменитой биографии Лютера 1950 года «На том стою» Роланд Бейнтон пишет: «Значение монашества Лютера в том, что его великий мятеж против средневековой Церкви вырос из отчаянной попытки следовать предписанным ею путем»[41].

Год послушничества Мартин провел так же, как и все монахи в монастыре. Вместе с ними поднимался он по удару колокола в два часа ночи, осенял себя крестом и, торопливо накинув белую рясу и наплечник[42], спешил из кельи в часовню: там молился перед высоким алтарем и, заняв свое место на хорах, пел утреню – первый из семи «часов», которые служатся в монастырях по всему миру. Утреня состояла из антифонного (попеременного) воспевания гимнов и псалмов и длилась около сорока пяти минут. В конце утрени монахи возносили молитву «*Salve, Regina*» («Спаси нас, Владычица»), обращенную к Марии: «Спаси нас, Владычица, Мать милосердная, наша надежда, наше утешение. К тебе мы, изгнанные сыны Евы, возносим свои молитвы. К тебе обращаем воздыхания, влачась в этой долине слез. Будь нашей заступницей, сладчайшая Дева Мария, молись за нас, святая Матерь Божья». После «*Salve Regina*» монахи пели «*Ave Maria*» («Славься, Мария») и «*Pater Noster*» («Отче наш»), затем вставали и выходили из часовни[43].

Одна из проблем, с которой, возможно, столкнулся Лютер, пускаясь в путь по этой натоптанной дороге, состояла в том, что Бог Отец и Сын Его Иисус воспринимались прежде всего как суровые судьи. Роль «утешителя» перешла к Марии – человеку, понимающему нас и наши испытания, нежной любящей матери, готовой защищать свое любимое дитя от злых и жестоких людей. Хотя христианское учение ясно гласит, что сам Иисус обладал полной мерой человеческой природы и, следовательно, может понять наши беды, страдания и искушения и сострадать им, – в реальности церковной жизни в ту эпоху эта сторона Иисуса по большей части не замечалась; Его представляли себе таким же далеким, холодным и страшным, как и Бога Отца.

---

[39] Цит. по: Bainton, *Here I Stand,* 20.

[40] В «Божественной комедии» Данте чистилище изображено как «гора с семью ярусами». Так же звучит заглавие автобиографии Томаса Мертона, монаха-трапписта XX века.

[41] Там же.

[42] Наплечник – монашеское одеяние без рукавов, свисающее с плеч. Также называется скапулярием, от латинского *scapula* – «плечо».

[43] Там же, 21–22.

Лишь за Марией, человеческой матерью Иисуса, признавалась способность и готовность утешать нас в несчастьях и давать надежду. Считалось, что она способна заступиться за нас перед своим суровым и, быть может, равнодушным Сыном, найдя для него такие слова, какие может найти только мать. По той же причине верующие часто и с великим усердием обращались к святым: они люди – кому же, как не им, понять наши трудности? Святые казались верующим куда ближе, чем Иисус, – формально тоже человек, но на самом-то деле прежде всего Бог. Святые – так казалось католикам – добрее и терпеливее, более готовы поспешить к нам на помощь; быть может, и времени у них больше, чем у Бога, который правит огромной вселенной, – где уж ему интересоваться нами и нашими мелкими неприятностями! Разумеется, такой ход мысли – ересь чистой воды, ничем не лучше, чем назвать Бога дьяволом; но в то время верующие так не думали. Эту глубочайшую, неизмеримую по своим последствиям ошибку никто не замечал – а если и замечали, то предпочитали помалкивать.

Лютер становится священником. Aetatis 23

Наконец настал день, когда Лютер окончил послушничество и стал полноценным монахом. В это время – в начале 1506 года – в монастыре проживали всего пятьдесят восемь монахов. Одиннадцать из них не имели священнического сана, остальные были священниками. Наставники Лютера, быстро разглядев и оценив его дарования, решили, что он должен стать священником, и чем скорее, тем лучше. Однако для этого требовалось одобрение генерального викария ордена. Генеральным викарием у августинцев был в то время высокообразованный и даровитый Иоганн фон Штаупиц. Свой пост он занял тремя годами ранее, а за год до того – в 1502 году – стал деканом богословского факультета вновь учрежденного университета в Виттенберге. В последующие годы этот Штаупиц сыграл в жизни Лютера очень важную роль: хоть он и не покинул церковь вслед за Лютером – без отношений с ним Лютер едва ли стал бы тем, кем стал. 3 апреля 1506 года Штаупиц, в то время сорока шести лет, приехал в Эрфуртский монастырь и провел там ночь: считается, что именно тогда он обстоятельно поговорил с Лютером и дал согласие на рукоположение брата Мартина в священники. Произошло это через год и один день после пострижения Лютера в монахи, 4 апреля 1507 года. Пройдя эту важную веху, Лютер получил право служить мессу.

Первая месса нового священника была событием праздничным – по-своему не менее важным, чем крещение, свадьба или похороны. Как и в других подобных событиях, перед «виновником торжества» открывалась дверь в некое иное состояние – дверь, пройдя в которую, уже нельзя было вернуться назад. Поэтому первая месса проходила очень торжественно. Новый священник приглашал на службу родных и друзей; кто-то из них, быть может, оставался в монастыре на день или два; после мессы устраивался праздничный ужин. Отношения с отцом у Лютера к этому времени наладились – по крайней мере, настолько, что отца он пригласил. В предыдущие два года они, по всей видимости, не общались. Не приходится сомневаться, что отец Лютера чувствовал себя преданным и был в ярости из-за внезапного решения сына, столь круто изменившего семейные планы и принятого заведомо против отцовской воли. Вообще нарушить волю отца было в то время делом почти немыслимым. Но что сделано, то сделано: и, должно быть, за эти два года Ганс Лютер успокоился – хотя бы настолько, чтобы, получив приглашение, действительно приехать. Однако он не мог прибыть в Эрфурт раньше 2 мая – и Лютер настоял на том, чтобы его первую мессу отложили до приезда отца. Как видно, отцовское присутствие было для него очень важно; можно предположить, что он видел возможность примирения – и на это надеялся. Итак, первая месса Лютера была назначена на 2 мая.

Назначив дату, Лютер мог теперь приглашать и остальных. Одно из первых дошедших до нас его писем – приглашение на первую мессу, обращенное к старому другу из Айзенаха Иоганну Брауну. Первый абзац полон такого необычайного смирения, что можно лишь гадать о том, с какими чувствами Браун читал это письмо:

> Приветствую во Христе Иисусе, Господе нашем. Страшился бы я, достопочтенный мой господин, обеспокоить любовь вашу своими утомительными посланиями и желаниями, если бы не знал (по опыту благородного сердца вашего, столь великодушно дарящего мне благосклонность) искреннюю дружбу вашу, в каковой мне не раз представлялся случай убедиться. Посему, не колеблясь, посылаю вам это письмецо, веря, что обоюдная дружба наша преклонит ко мне ваш слух и побудит благосклонно отнестись к моей просьбе.

Что же это за просьба, которой предшествует такое предисловие? Может быть, Лютер попал в беду? Или ему деньги нужны? Да нет: к большому облегчению Брауна, это оказалось всего лишь приглашение на праздник. Но дальше парад смирения продолжался:

> Бог, преславный и пресвятой во всех делах Своих, изволил чудесно возвысить меня, злосчастного и совершенно недостойного грешника, призвав меня, лишь по преизобилующему Своему милосердию, к высочайшему служению Себе. Итак, мне предстоит исполнить порученное мне служение, дабы получить доступ (насколько возможен доступ к Богу для персти земной) к великому сиянию Божественной благодати.

В сравнении с тоном многих позднейших писаний Лютера тон этого письма кажется почти невероятным. Верно, что Лютер всегда глубоко уважал власти и авторитеты; однако это послание проливает некоторый свет на его умонастроение в то время. В монастыре он провел уже больше года – и, как видно, был поглощен мыслями о собственной грешности и недостоинстве. В постскриптуме Лютер упоминает семью Шальбе, у которой жил в Айзенахе; вот что он говорит:

> Не осмеливаюсь докучать достойнейшим лицам из дома Шальбе, коим я стольким обязан, или обременять их своими просьбами. Не сомневаюсь, что для их высокого положения в обществе и доброй славы несообразно прозвучат приглашение на столь смиренное и маловажное событие или же пожелания монаха, умершего для мира. Кроме того, я не уверен и пребываю в сомнениях – порадует ли их это приглашение или раздражит? Посему решаюсь промолчать; однако прошу вас, если будет возможность, передать им мою благодарность. Прощайте![44]

Чувство его полного недостоинства перед Богом, охватившее Лютера, казалось богословски оправданным, однако привело к серьезной проблеме на том самом торжественном мероприятии, куда он пригласил Брауна и множество других гостей. Дело в том, что в этот день Лютеру предстояло сделать нечто такое, чего он не делал никогда прежде: предстать лицом к лицу с Богом. Каждый священник знал: к возношению гостии и возлиянию вина нельзя относиться легко, как к простой подаче на стол хлеба и перебродившего виноградного сока. Священник совершает пресуществление: в его грешных, но освященных руках хлеб чудесным образом превращается в Тело самого воплощенного Бога, Тело Царя, жестоко ломимое за человечество. А вино при звуках человеческих слов становится истинной Кровью Того, Кто пролил эту кровь в страшном и мучительном жертвоприношении – и умер за нас, грешных. Свою ответственность Лютер понимал и принимал очень серьезно.

Лютер хорошо понимал, что во время мессы он первый раз в жизни обратится напрямую к неизъяснимому Всевышнему. Мысль эта, великая и пугающая, глубоко его поразила. Стоило вообразить себе неизмеримое расстояние между ним и Богом, к которому он дерзает обращаться! От этого кружилась голова. Что делать? Лютер острее большинства священников сознавал глубину и обилие своих грехов – и никогда не был уверен, что исповедал их все, хоть и очень старался ни одного не упустить. Помнил он и о том, что совершать святой обряд мессы, имея на себе хоть один неисповеданный грех, – кощунство, за которое Бог легко может поразить его смертью. Многие другие монахи относились к этому легкомысленно, так что их наставники никогда не упускали случая подробно на этом остановиться и описать такую перспективу в самых ярких и пугающих красках. Но Лютеру едва ли требовались красочные запугивания: чем ближе к великому дню, тем сильнее мучился он страхом и чувством своего недо-

[44] LW, 48:4.

стоинства. Как посмеет он, грешный Мартин Лютер, приблизиться к святому, бесконечному, всемогущему Богу?

Если Лютер думал, что отец его не приедет или приедет лишь для проформы, то ошибся. Наступил великий день – и Ганс Лютер появился в монастыре во главе почти что королевской процессии: с ним приехали не меньше двадцати человек, и все верхом. Тащиться до Эрфурта на телегах Лютеру-старшему и его друзьям было не по чину. А на случай, если бы эта процессия недостаточно впечатлила сына и его новых товарищей – процветающий отец сделал монастырю значительный денежный дар в двадцать гульденов. Несомненно, во всем этом был силен элемент показухи – но чувствовалось и желание примириться с решением сына; насколько искреннее, другой вопрос.

Почему именно отец приехал сам, привез с собой два десятка друзей, да еще и сделал впечатляющий вклад в монастырь – точно мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем. Высказывались предположения, что недавняя смерть от чумы двух близких родственников заставила его больше прежнего бояться Бога[45]. Современные ученые полагают, что чума, поразившая Мансфельд в 1505 году – в год вступления Лютера в монастырь, – унесла двоих его младших сыновей, и, быть может, боль этой потери вызвала у Ганса Лютера нечто вроде раскаяния – а может быть, он просто начал больше ценить старшего сына, оставшегося в живых. По-видимому, в то время, пока отец с сыном не общались, Гансу пришло ложное известие, что Мартин тоже умер от чумы. Так что, быть может, этим путешествием и щедрым даром он благодарил Бога за то, что сын его жив, и показывал раскаяние в былом своем гневе на Мартина, пренебрегшего его планами и желаниями. Словом, мы не знаем точно, что было на уме у отца Лютера, – но Мартин, безусловно, был рад его приезду.

Однако первая месса юного священника едва не закончилась неудачей. Все эти гости из прошлой жизни, с гордостью на него взирающие, быть может, заставили молодого монаха особенно остро ощутить: вот-вот он совершит то, что навеки отделит его от остального человечества, он возьмет в руки Тело и Кровь Бога воплощенного, напрямую обратится к Святому, рядом с которым можно лишь пасть ниц в трепете или умереть. Он знал: делать то, что он делает, в состоянии нераскаянного греха – все равно что прыгнуть со скалы. Священники в средневековой Церкви в каком-то смысле выполняли роль Бога. Отделенные от всех прочих людей на земле, одни лишь они обладали правом совершать самое великое и священное в мире действо. Лютер ясно это понимал – и чувствовал себя недостойным такой чести.

Должно быть, Лютер был знаком с ритуалом, описанным в Ветхом Завете, когда в День Искупления (Йом-Киппур) первосвященник входил в так называемую Святая святых, священную центральную часть Храма, отгороженную от других помещений тяжелыми завесами. Там находился самый священный предмет на свете: резной Ковчег Завета, а в нем – скрижали, данные Моисею на горе Синай. Общая вера гласила, что в этом месте обитает сам Бог. Первосвященник входил туда в особом одеянии с нашитыми на него колокольчиками: пока колокольчики звенели – снаружи знали, что он жив. Некоторые предания рассказывают, что к ноге первосвященника привязывали веревку, – чтобы, если присутствие Бога живого убьет его на месте, другие священники могли вытащить его мертвое тело. Стоять перед Богом живым, взирать на Него – все это ощущалось как опасность, вызывало благоговейный трепет, переходящий в глубокий страх. Такой же благоговейный страх охватил сейчас Лютера.

Итак, на пороге священного жертвоприношения он заколебался. «Твоя от Твоих Тебе приносим, – воззвал он, – живому, истинному, вечному Богу!» О том, что произошло дальше, сам Лютер рассказывал годы спустя:

> На этих словах я окаменел, пораженный ужасом. Я думал в себе: «Каким же языком обращусь я к Величию, в присутствии которого повергаются ниц и

[45] Stahl and Schlenker, "Luther in Mansfeld," *Martin Luther and the Reformation,* 68–69.

> трепещут даже высокородные князья земные? Кто я такой, что смею поднимать глаза и простирать руки к этому божественному Величию? Ангелы окружают Его. От покивания главы Его содрогается земля. Неужели же я, жалкий карлик, обращусь к Нему со словами: “Хочу того, прошу этого”? Ведь я – пыль и прах, полон греха; и говорю сейчас с вечным, живым, истинным Богом!»

Когда настало время возносить гостию, он застыл как вкопанный, не в силах сделать именно то, к чему готовился два года и ради чего проделали долгий путь все его гости. Однако рядом с Лютером был другой священник, – так всегда делалось во время первой мессы: более опытный «страховал» новичка. Лютер, парализованный ужасом перед тем, что ему предстоит сделать, прошептал ему, что хочет бежать прочь от алтаря. Старший священник сам когда-то был на этом месте: он понял, какие чувства обуревают новичка, твердым голосом приказал ему продолжать – и Лютер повиновался.

Заметили ли заминку зрители, поняли ли ее причину – неизвестно. А зрителей было множество – на праздник собрались родные, друзья и знакомые из всех сфер жизни Лютера. Неизвестно, были ли здесь его мать, сестра и невестка – но надо полагать, что были: по таким торжественным случаям женщины допускались и в мужские монастыри. Были здесь его брат, зять, престарелый двоюродный дед Конрад Хуттер из Айзенаха, а также эйзенахский учитель Виганд Гюльденапф, с которым Лютер сблизился во время учебы. Был, разумеется, и Иоганн Браун.

Одним словом, так или иначе, мессу Лютер успешно завершил. А дальше, на праздничном ужине, в присутствии всех гостей, произошло еще одно знаменательное событие, о котором Лютер также вспоминал до конца жизни.

Именно на этом торжественном ужине, в присутствии множества гостей, Лютер осмелился спросить: «Дорогой отец, почему же вы так противились тому, чтобы я стал монахом?» Мы не знаем, каким тоном был задан этот вопрос – однако, судя по тому, с каким недовольством встретил отец это решение сына, вопрос был смелый, если не дерзкий. Что это было – Лютер добродушно поддразнивал отца или же бросал ему вызов? Мало того – дальше он добавил: «Быть может, вы и теперь недовольны – ведь жизнь [здесь, в монастыре] тихая, благочестивая».

Отец дал на это потрясающий по силе ответ. «Вы, сын мой, ученый, – отвечал он, – так неужто не читали в Библии, что следует почитать отца и мать? А сами бросили и меня, и матушку вашу, так что мы остались одни на старости лет».

Большая часть биографий Лютера описывает этот разговор как серьезный обмен ядовитыми упреками, еще более болезненными оттого, что дело происходит публично, при большом стечении народа – и, во фрейдистском духе, видит за этими репликами движение каких-то подсознательных тектонических плит. Именно сейчас, в миг, когда Лютер, ища утешения и примирения, ждал, что отец наконец благословит его решение, принятое во время грозы в Штоттернхайме – тут-то и поджидала его гроза отцовского гнева! Но так ли это?

Быть может, интонации и смысл этой перебранки были совсем иными? Быть может, на шумном празднике, с чувством облегчения от примирения после двухлетней ссоры, Лютер задал свой вопрос полушутя? И ответ отца был не жестоким упреком, да еще и брошенным перед всем честным народом, а такой же полушуткой, острым словцом? Мол, «ах, ты так – а я сейчас тебя срежу!» Нам известно, что позже любовь Лютера к шуткам и каламбурам не знала границ, да и весь тюрингско-саксонский мир славится страстью высмеивать и вышучивать друг друга; быть может, и этот диалог не стоит воспринимать совсем уж всерьез.

«Но, отец, – отвечал на это сын, – своими молитвами здесь я принесу вам больше пользы, чем если бы оставался в миру». А затем, чтобы на том и окончить спор, напомнил отцу: ведь сам Бог говорил с ним через раскаты грома, побуждая принять решение о монашестве! Не

станет же добрый отец противиться решению Бога! Однако отец Лютера был не глупее сына: «Дай-то Господи, – отвечал он, – чтобы в тот день вам явился Бог, а не дьявол!»

И вот что нам известно точно: в каком бы настроении ни проходил этот разговор – последние слова отца поразили Лютера и преследовали его еще много лет спустя. Конечно, связано это и с тем, что позднее Лютер не раз задумывался о том, что произошло с ним тогда, в раскатах грома и блистании молний. Кто воззвал к нему – Бог или дьявол? От того, чтобы отвергнуть монашество, двадцатитрехлетнего Лютера отделяла целая эпоха; однако семя было уже посеяно и в должный срок выросло в бобовый стебель такой высоты, что он расколол монолит европейского христианского мира – в глазах тогдашних людей, почти что расколол небо.

Трудный путь на небеса

В 1507 году Лютер стал не только монахом, но и священником. Но принять монашество – лишь полдела. Теперь ему предстояло жить так, как живут монахи: непрестанно молиться, скрупулезно отслеживать свои мысли и постоянно исповедовать мельчайшие уклонения, ничтожнейшие проявления невнимания или небрежности в этих сферах. Ошибочно было бы полагать, что все прочие монахи относились к этому несерьезно – однако складывается впечатление, что Мартин Лютер воспринял свои обязанности с повышенной серьезностью, и именно поэтому остро, как мало кто еще, столкнулся с неизбежными проблемами такой жизни – а это, в свою очередь, заставило его задуматься обо всей религиозной системе так, как мало кто еще о ней думал.

Хотя богословие христианской религии всегда гласило, что от грехов спас нас Бог – Спаситель Иисус, а не мы сами, – и что в любви и милости Своей Бог спасает тех, кто сам спастись бы не смог, – с веками в практическую жизнь христиан тишком проползла другая мысль, совершенно противоположная первой. В средневековых христианских практиках ясно звучит идея, что спасение можно заработать своими силами, – если не полностью, то по крайней мере сделать большой шаг к своему спасению; так что лучше постараться и предпринять все, что в твоих силах. Разве нет вокруг людей, отличающихся святой жизнью? Разве святые – не живые доказательства того, что жить свято нам вполне по силам? Разве не говорил сам апостол Павел, что нам следует «со страхом и трепетом совершать свое спасение»?[46]. Итак, церковное богословие очень далеко отошло от простой мысли, что нас спасает Бог, – напротив, в нем появилось сильное тяготение к идее, что спасать себя мы должны сами.

Уклоняться от этой задачи Лютер не собирался – и, вступив в монастырь, где у него были и время, и возможность изучать Библию, начал искать путь к спасению так серьезно, с таким тщанием, как едва ли искали многие до него. Дело было серьезнее некуда: по всему выходило, что грешник в самом деле должен искупить себя сам, что это вполне достижимо, что другим – пусть и с помощью благодати Божьей – это удавалось, значит, вполне по силам и тебе. Циником Лютер никогда не был – напротив, бывал прямодушен до наивности: все это он понял вполне буквально и начал, так сказать, всеми силами воплощать эту программу в жизнь.

Однако именно оттого, что он был честен, внимателен и мыслил ясно, программа дала сбой. Мощный ум Лютера неустанно трудился, выискивая у себя прегрешения; но всякий раз, когда он исповедовался – и, казалось, исповедал, как и положено, все свои грехи – затем, помня, что даже один неисповеданный грех способен утащить тебя в ад, он напрягал ум в поисках новых грехов – и неизбежно их находил. Если честно исследовать свои мысли, грехам не будет конца – а Лютер был с собой честен. Что, если он ушел с исповеди, забыв признаться в одной нечистой мысли, посетившей его три дня назад? Кто умирает, не исповедовавшись перед самой кончиной – умирает «во грехах своих». Бесконечными исповедями Лютер доводил и себя, и исповедника до умопомрачения – но лучше ему не становилось; он продолжал истязать себя тревогой из-за того, что наверняка что-то упустил.

Система покаяний и наказаний, разработанная Церковью на протяжении веков, была довольно запутанной, но главное в ней было ясно: священник действует от имени Церкви, а Церковь – от имени Бога, ей дана власть прощать и отпускать грехи. Чтобы очиститься от грехов, прежде всего надо исповедоваться. Это не просто «желательно» – без этого никак не обойтись. Ведь это «таинство Церкви»! Итак, необходимо ходить на исповедь – и на каждой исповеди перечислять все свои грехи, какие только сможешь припомнить. Выслушав твою исповедь, священник назначает епитимью. Например, может предписать тебе прочесть два-

[46] Фил. 2:12 (New International Version).

дцать раз «Богородице Дево» и сорок раз «Отче наш», или столько же раз читать молитвы по розарию. В наше время принято пренебрежительное отношение к епитимьям как к механическому повторению бессмысленных текстов. Но изначальный смысл их вовсе не в этом. Кающемуся предписывалось не просто сорок раз за определенное время повторить «Отче наш» – он должен был молиться всерьез, сосредоточенно, устремляясь душой к Богу. Если же многие и читали их механически, бессмысленно, спеша поскорее разделаться с этой тягостной обязанностью – уж точно не священник, назначивший епитимью, был в этом виноват.

В результате всего этого у верующих складывалось убеждение, что исповедью и епитимьями можно, так сказать, обнулить свои грехи и вернуться к исходному состоянию. Они покаялись, грехи их прощены и забыты – можно начинать сначала. Но за этой концепцией стояла еще одна – представление о том, что Церковь владеет «сокровищницей заслуг». Церковь учила, что некоторые особенные люди, как святые или сам Иисус, не просто обнулили все свои грехи; в своей жизни они так мало грешили и совершили так много добрых дел, что «приход» в их душевной бухгалтерии значительно превосходит «расход». Отправляясь на небеса, они, так сказать, кладут свои заслуги на сохранение в небесный банк. Таким образом, заслуги всех святых в истории Церкви копятся в огромной небесной сокровищнице. Можно ли представить себе ее объем? Кто скажет, каковы заслуги одного лишь Иисуса? А Девы Марии? А Петра, и Павла, и еще многих сотен святых? И кто может управлять этим небесным банком, если не Церковь? Он так и назывался – «сокровищница Церкви». Церковь верила, что Иисус вручил «ключи царствия» Петру – первому папе римскому; и на протяжении столетий Церковь и папа хранят эти ключи, дающие им доступ к сокровищнице заслуг и власть ею распоряжаться. А это, в свою очередь, приводит нас к нелегкой теме индульгенций.

Идея индульгенций связана с сокровищницей заслуг. Чтобы понять, как работают индульгенции, представим себе: вот верующий приходит на исповедь и рассказывает священнику, что сделал то и это. Тот назначает ему двадцать раз прочесть «Отче наш» и, возможно, сделать какое-нибудь доброе дело для Церкви. Но в какой-то момент Церковь пришла к новой мысли: можно купить индульгенцию, заплатив деньги в церковную казну – это ведь тоже будет своего рода епитимья! Помогать Церкви деньгами – дело несомненно доброе. Итак, если я решаю, например, сделать взнос на строительство собора – и для этого покупаю индульгенцию, – вполне разумно засчитать это мне как доброе дело, попадающее в категорию «заслуг». А если я дам в десять раз больше денег, то и «заслуг» у меня окажется больше в десять раз. Однако в небесную сокровищницу эти заслуги не отправляются. Они остаются при мне и я могу, так сказать, «тратить» их как хочу. Так, можно купить за свои деньги индульгенцию, дарующую мне прощение какого-то определенного греха. Если я согрешил и священник назначил мне епитимью из молитв и добрых дел, я могу вытащить свою индульгенцию в письменном виде и показать ему, что за этот грех уже «отбыл наказание».

Легко себе представить, к каким злоупотреблениям и бедам эта идея, укоренившись в Церкви, могла привести. Так оно и вышло. Появился новый рынок: духовный мир грехов и добрых дел оказался привязан к миру финансовому, к долгам и платежам. Едва ли стоит удивляться тому, что при выходе на финансовый рынок нового продукта рынок начинает лихорадить. Прежде всего, саму Церковь охватил необоримый соблазн продавать больше индульгенций, чтобы получить побольше денег. Ведь средневековая Церковь, по сути, представляла собой государство или огромную корпорацию – и деньги для постройки церковных зданий и выплаты жалований требовались ей постоянно. В этом самом по себе ничего удивительного нет. Однако если папа отличался расточительностью и денег не хватало – слишком легко было обратиться к индульгенциям как к решению проблемы. Разумеется, это и произошло. Индульгенции стали постоянной статьей дохода и со временем превратились в абсолютную необходимость. Они сделались настолько важны, что Церковь готова были закрыть глаза на любые злоупотребления.

Проблема индульгенций и искушение ими обрели новый размах в 1476 году, когда папа Сикст IV сообразил: необязательно ограничивать рынок миллионами живых грешников – можно распространить его и на те десятки и сотни миллионов, что уже покинули мир живых и томятся в чистилище. Можно лишь вообразить себе тот миг, когда до Сикста IV дошло: он может продавать заслуги из своей бесконечной «сокровищницы» не только тем, кто живет и грешит сейчас, но и всем, кто хочет облегчить страдания своих родных в чистилище. Сикст открыл золотую жилу длиной и шириной в Тибр! Обнаружился огромный и еще нетронутый сегмент рынка – страдания мертвых. Продажи индульгенций резко возросли. Теперь можно было покупать индульгенции не только для себя, но и для усопшего отца, деда, дяди, брата – да для кого угодно! И, разумеется, это означало не только то, что рынок вырос: поскольку предметом торга стали теперь страдания бедных душ в чистилище, проповедники-продавцы индульгенций принялись уделять этим страданиям особое внимание в своих проповедях и описывать их в самых ярких красках. Какой же сын не захочет избавить от таких мук своих отца и мать? Если с деньгами туго – можно еще сэкономить на себе; но кто откажется прямо сейчас, не сходя с места, всего за несколько монет облегчить страдания дорогого усопшего?

Система покаяния в средневековой Церкви привела людей к убеждению, что путь на небеса можно заработать, а значит, нужно стараться изо всех сил. Большинству это не особенно-то удавалось. Но Мартин Лютер стал монахом именно потому, что надеялся на успех. Как и положено монаху, каждое утро он поднимался раным-рано, вставал на молитву – и неустанно молился весь день. При каждой возможности ходил он на исповедь. Почему же он чувствовал, что прогресса нет? Он исповедовался снова и снова – и все же понимал: если быть честным с самим собой, всегда найдутся какие-то дурные мысли, которые ты исповедать забыл. Или, иначе: тщательно исповедовавшись, он испытывал греховную гордость от того, что на этот раз не забыл ни одного греха – и теперь должен был исповедовать и эту гордость. В целом Лютер ощущал, что топчется на месте – и это безмерно его угнетало. Он бросил мир, бросил все, разрушил планы отца – и ради чего? Никакого духовного прогресса, ни капли утешения! Он словно плывет против бурного потока: гребет изо всех сил, до изнеможения – но каждый гребок не только не приближает его к цели, но и уносит назад, в сторону смерти и вечной погибели. Неужели вся эта тяжелая борьба окончится поражением? Неужели он обречен на ад?

Лютер терпит неудачу

Исповедь стала для Лютера навязчивой идеей. Дошло до того, что исповедник его – в то время им был Штаупиц – начал впадать в отчаяние от этих беспрерывных и бесконечных исповедей. Однажды Лютер исповедовался шесть часов без передышки, залезая во все закоулки каждого мыслимого греха, а потом в закоулки закоулков, пока Штаупица пот не прошиб и голова не пошла кругом. Будет ли этому конец? Лютера это не смущало: он готов был исповедаться еще трижды по шесть часов, если это поможет докопаться до дна. Но докопаться до дна никак не удавалось. В то время он не понял еще, что дна нет, что человек греховен полностью, во всем своем существе. Все, что понимал Лютер: хоть он и охотится за грехами, словно терьер за крысами, но стоит ему окончить исповедь и повернуться, чтобы уйти – на память приходит еще какой-нибудь пропущенный грех. А ведь Церковь учит, что в грехе невозможно покаяться и получить прощение, пока не вспомнишь его и не назовешь на исповеди. Но разве не старается он изо всех сил найти и исповедать все свои грехи? Как же это получается у других? Неужто он грешнее прочих? Должно быть, так – и значит, надо еще больше стараться.

Штаупиц досадовал на усердного монаха. Случай Лютера выглядел для него каким-то моральным помешательством: с таким Штаупиц до сих пор не сталкивался. Вместо того чтобы смотреть вперед и вверх, на любящего Бога, этот безумец сосредоточился на себе и рьяно копался в своих мыслях. Не раз Штаупиц пытался резкими словами выдернуть Лютера из этой нисходящей спирали самокопания и самобичевания. «Это не Бог на тебя разгневан, – сказал он однажды, – а ты разгневан на Бога! Или не знаешь, что Бог заповедал нам надеяться?» А в другой раз сказал: «Вот что: если хочешь, чтобы Бог тебя простил, приходи с чем-то таким, что стоит прощать, – с прелюбодеянием, богохульством, отцеубийством, а не с этой ерундой!» Лютер исповедовался в дурных мыслях: рассердился на кого-то из братьев, разозлился на что-то, был невнимателен во время молитвы. А если и таких грехов не находилось – исповедовался в гордости за то, что у него нет таких грехов. Штаупиц был человек важный и занятой, у него попросту не было времени на такое духовное крохоборство. От своих духовных детей он ожидал больших сочных грехов – таких, про которые сразу понятно, что это грех, можно в нем покаяться и уйти с чистой совестью! Но Лютер приносил ему комара за комаром – и ни единого верблюда. Грехи его, похоже, никогда не вырастали до чего-то осязаемого, такого, за что Штаупиц мог бы ухватиться обеими руками. Он видел, что Лютер гоняется за собственным хвостом – и эта погоня им обоим приносила лишь изнурительное головокружение.

По-видимому, борения Лютера не были или почти не были связаны с плотскими искушениями. Позднее, подробно рассказывая о своей молодости, он замечал, что грех блуда не имел для него особого значения. Боролся он с сомнениями – собственными сомнениями в том, что способен на что-то доброе, что может заслужить вечное спасение, благодать и милость Божью. Он знал, что жизнь монаха должна освобождать от искушений: с утра до ночи монах занят молитвами, пением гимнов и иными монашескими трудами, а тем соблазнам, которые могли бы осаждать Лютера, стань он юристом, в монашеской жизни места нет. Однако чем больше старался Лютер стать святым, тем более убеждался, что это ему не по силам. Чем старательнее мыл, чистил и скреб – тем больше видел грязи. Беспокоиться о сексуальных искушениях ему не приходилось: в сравнении с тем, что Лютер называл «настоящими узлами», это были сущие пустяки.

Как распутать эти узлы, он не понимал – и страшно от этого мучился; однако не терял решимости и готов был бороться, пока не найдет ответ. Ответ, как мы знаем, ему предстояло найти лишь годы спустя. Пока же этот бесплодный поиск вел лишь к мучениям, известным нам как *Anfechtungen.*

Вот что писал Лютер о своем опыте несколькими годами позже, в 1518 году[47]:

> Я знал одного человека, говорившего, что он часто испытывал эти кары, и всякий раз очень недолго. Однако были они столь велики и столь подобны аду, что этого не рассказать языком и не описать пером, и кто сам не испытает такого – никогда не поверит. Столь велики были эти муки, что случись им длиться хоть полчаса – да что там, хоть пять минут! – он погиб бы навеки, и все кости его обратились бы в пепел. В эти минуты чудится тебе, что Бог, а с Ним и вся тварь Божия, тебя ненавидит. В эти минуты некуда бежать, негде искать утешения – ни внутри, ни снаружи: все тебя обвиняет… В эти минуты – странно сказать, но душа не в силах верить своему искуплению[48].

Вот основная проблема позднесредневекового католического богословия: оно приводило верующих к пониманию их греховности и недостоинства перед Богом – но не объясняло, что же делать дальше: разве только простираться ниц в страхе и муке, чаще исповедоваться и сильнее стараться. В какой-то момент грешники – из них же первый есмь Лютер – приходили к мысли, что вполне заслужили гнев и ярость Бога. Для Штаупица, для того времени и той среды обладавшего на удивление здравым взглядом на Бога, очевидно было, что Бог любит нас и к нам милосерден; но для Лютера Бог оставался лишь суровым судьей, чья праведность безжалостно втаптывает нас в грязь и обрекает на гибель.

[47] Лютер здесь, очевидно, пишет о себе – так же, как апостол Павел в 2 Кор. 12:2–4; знакомые с Библией читатели того времени, несомненно, сразу это понимали.

[48] LW, 31:129.

Портрет Иоганна фон Штаупица

Видя мучения Лютера, Штаупиц проникся к нему интересом и отеческой заботой. Роль этого человека в жизни Мартина трудно переоценить. Рано увидел он в Лютере талант и большой потенциал – и делал все возможное, чтобы помочь ему найти свой путь. Штаупиц – а также его связи и знакомства, прежде всего с курфюрстом Фридрихом и в Виттенбергском университете – сыграли в жизни Лютера столь значительную роль, что без всего этого Лютера и представить себе невозможно. Однако – вот еще одна любопытная деталь этой удивительной истории, – выведя Лютера на правильный путь, сам Штаупиц за ним не последовал.

Глава третья
Великий перелом

Что, если это неправда?
Мартин Лютер

Путь Лютера – от преданного сына Церкви до вождя Реформации, порвавшего с Церковью – занял много лет и представлял собой постепенную трансформацию. Не было второго удара молнии, заставившего его перепрыгнуть из Средневековья прямиком в Новое время; не было какой-то четкой границы, разделяющей две эпохи. Однако в 1517 году произошло важное событие, поставившее Лютера на одну из сторон великого богословского раскола.

Отчасти процесс этот начался с того, что Лютер осознал себя искателем истины, – а такая жизненная позиция неизбежно вела к сомнению в расхожих «истинах», всеми принимаемых на веру. В какой момент любить Церковь стало означать для Лютера – задавать ей вопросы? Когда понял он, что его долг – прямо и смело, хоть и с любовью, указывать на ее ошибки? Если Церковь – хранительница всякой истины, что делать, когда замечаешь проблеск истины вне Церкви? А если в Церкви видишь проблески лжи? В какой момент признать, что и то, и другое возможно – и чем это объяснить? Вопросы не из легких.

Многие из этих вопросов предстали перед Лютером, когда он начал читать Аристотеля. Аристотель, греческий философ IV века до н. э., очевидно, христианином не был. Однако средневековые схоласты высоко ценили Аристотеля и его писания и считали необходимым включать их в богословие Церкви. Аристотель лежал в основе схоластики, вершиной которой стали труды Фомы Аквинского (XIII век). Однако где-то между чтением Аристотеля и блаженного Августина Лютер обнаружил некую зацепку – совсем крохотную, но важную; и решил за нее потянуть.

Проблемы с Аристотелем

В 1889–1890 годах в публичной библиотеке в Цвиккау, в семидесяти пяти милях к востоку от Эрфурта, кто-то набрел на собрание старинных книг в пятнадцати томах – как выяснилось, принадлежавшее Лютеру и сопровождавшее его в монастырских занятиях. Находка была знаменательная. Несколько томов составляли труды блаженного Августина. На полях нашлись заметки, сделанные почерком Лютера, так что у историков появилась возможность следить за ходом его мысли. Из книг, исчерканных и исписанных рукою молодого Лютера, стало очевидно, что очень рано – уже осенью 1509 года, в двадцать пять лет – заметил он между Августином и Аристотелем значительные и тревожные расхождения. В одном из примечаний на полях он пишет: «Августин при помощи разума доказывает, что вся философия ничего не стоит. Вообразите только, что это значит!» Рукописи Августиновых «О Троице» и «О Граде Божьем» Лютер сопроводил своими краткими аннотациями. В одной из них он пишет: «Более чем поразительным кажется мне смелое утверждение наших ученых, что Аристотель ни в чем не противоречит истине Католической Церкви»[49]. Итак, у нас есть рукописное доказательство, что именно великий Августин – один из отцов Церкви, глубоко почитаемый всеми христианами – первым помог Лютеру увидеть то, что в конце концов привело его к восстанию против современной ему Церкви. И одна из важных мыслей, почерпнутых Лютером у Августина, была в том, что человеческая истина имеет границы и своими силами никогда не достигнет небес.

Постепенно Лютер пришел к мысли: воображать, что простой человеческий рассудок может дотянуться небес – не просто заблуждение, но безумная и пагубная гордыня. Как могут человеческие слова и мысли перекинуть мост через бесконечную пропасть между землей и небом, человеком и Богом? Разве это не невозможно по определению? И сама попытка выстроить из костей умерших мудрецов лестницу к жемчужным вратам рая – не глупость ли, даже не дьявольская ли ловушка? Это же не что иное, как Вавилонская башня под другим именем! Верно: Аристотель, философия, разум могут возвести нас на вершину высокой горы. Но что дальше? Они не приделают нам крылья, чтобы преодолеть оставшийся путь и достичь Бога. Мы так и останемся на вершине горы, прикованные к земле. Можно сколько угодно тянуться, прыгать, вставать на цыпочки – все тщетно: синевы небес нам коснуться не дано. Только Бог способен низвести небо на землю; только откровение Божье перекидывает мост через эту пропасть, самую непреодолимую из всех пропастей.

Итак, Лютер столкнулся с загадкой. Почему все эти века Церковь ставила Аристотеля почти что наравне с Писанием? Зачем учила, будто человеческий разум способен на то, что ему явно не по силам? Ответ на этот важнейший вопрос занял у Лютера еще несколько лет.

[49] Oberman, *Luther,* 59.

Библия

В мире, где мы почти повсеместно ассоциируем Библию с Церковью, а Церковь с Библией, трудно вообразить себе эпоху, когда между тем и этим не было почти никакой связи. Столь резкая перемена – еще одно свидетельство неизмеримого влияния, оказанного Лютером на историю. Однако сам Лютер не раз повторял, что в ранние его монашеские годы изучение Библии как таковой было делом почти неслыханным. Разумеется, в тогдашней Церкви экземпляры Библии не лежали на скамьях, и средние миряне почти не представляли, о чем идет речь в этой книге – более того, едва ли четко понимали даже, что речь идет об одной книге. Во время церковных служб они слушали отрывки из Библии, читаемые по-латыни: но мысль, что где-то есть книга, в которой все эти тексты собраны вместе, оставалась чуждой для них даже через десятки лет после появления первых печатных Библий Гутенберга. Это не значит, что монахи были незнакомы с содержанием и учением Библии; однако и до них это содержание доходило, просеянное сквозь сито Церкви, клочками и обрывками, и редко случалось им задумываться о том, что все эти разнородные тексты составляют единое целое. Например, монахи и студенты-богословы читали комментарии Дунса Скота или «Сентенции» Петра Ломбардского, посвященные в основном библейским текстам. Однако представление о Библии как о целостном тексте эти комментарии, скорее, затемняли. Практически никому Церковь не доверяла читать Библию самостоятельно и целиком; и монахи, и священники, и даже ученые богословы, как правило, всегда оставались от нее в нескольких шагах. Однако новое интеллектуальное движение, гуманизм, подчеркивающее важность чтения оригиналов (латинских, греческих, древнееврейских) как Библии, так и иной древней литературы, уже поднимало голову и бросало вызов схоластике и ее взгляду на Библию, укоренившемуся в течение веков.

Учитывая атмосферу того времени, а также высокую цену книг, тем более таких огромных – легко догадаться, что доступных для чтения Библий было попросту очень мало. Однако в то время, когда Лютер поступил в монастырь, там действовало важное правило: одной из книг, которые разрешалось читать послушникам, была как раз Библия. Мы знаем, что, вступив в монастырь, Лютер немедленно получил на руки Библию в красном кожаном переплете – которую вспоминал и много лет спустя. К книге этой он, как видно, отнесся предельно серьезно – не просто читал ее, но изучил вдоль и поперек, почти что выучил наизусть. Он читал ее снова и снова, пока Библия не сделалась знакома ему как свои пять пальцев – занятие для того времени очень необычное. Разумеется, это оказало прямое влияние на будущие события его жизни, да и на будущее человечества. Что именно побудило его к столь интенсивному изучению Библии, мы не знаем; но, судя по всему, львиная доля ответственности за эту одержимость Библией лежит на *Anfechtungen.* В слове – и прежде всего, разумеется, в слове Божием – Лютер отчаянно искал ответа на мучающие его вопросы, на те проблемы, что, по сути, и привели его в монастырь. Уже в университете, изучая философию, он испытал на себе мощное влияние гуманизма – и был уверен, что, обратившись к первоисточнику, непременно найдет там ответы на свои вопросы, если их вообще можно найти. Охваченный отчаянием, стремился он к ответам, как жаждущий стремится к источнику вод. И, когда вожделенный первоисточник наконец попал к нему в руки – подобно ученому перед микроскопом, ищущему лекарство от смертельной болезни, угрожающей и ему самому, Лютер уже не мог оторвать от него глаз. То, что содержится в Библии, было для него неизмеримо важнее всего, что содержится вне ее.

В отличие от Лютера, читавшего Библию страстно, запоем, другие монахи – по его рассказам – читали Писание мало или пренебрегали им вовсе. Именно одержимость Лютера Библией и отличное знание ее привлекли к нему внимание Штаупица[50]. Как Лютер своей жаждой

[50] Brecht, *His Road to Reformation*.

читать и понимать Библию выделялся среди монахов своего монастыря – почти так же выделялся и Штаупиц среди богословов своего времени.

Как ни странно, когда послушник становился монахом, Библию у него отбирали. Теперь он должен был ограничить свой круг чтения сочинениями схоластов – по крайней мере у себя в келье. По-видимому, после пострижения Лютеру позволено было читать Библию лишь во время занятий в монастырской библиотеке. Однако Лютер считал для себя необходимым читать именно Библию – именно в ней он надеялся найти ответы на свои вопросы; комментарии схоластов мало ему в этом помогали. Они не проясняли, а затемняли ситуацию и лишь ухудшали его состояние.

Во времена Лютера толкование Библии было безнадежно затемнено формальным и изощренно-искусственным схоластическим подходом, который для такого человека, как Лютер – живого ума, активно ищущего истину, – должен был казаться невыносимым. Однако таков был обычай того времени: любой библейский отрывок первым делом укладывали на прокрустово ложе схоластических толкований и рассекали на четыре части. Как говаривал Марк Твен, чтобы понять, как устроена шутка, надо ее убить – здесь так же «убивали» Библию. Схоласты знали четыре способа толкования текста: первый – буквальный его смысл, второй – топологический, третий – аллегорический, четвертый – анагогический. Например, для псалмов – которые Лютер читал и пел каждый день во время молитвы – буквальный смысл всегда понимался как христологический. Топологический – значение текста для человечества; под этим чаще всего понималось его нравственное истолкование. Аллегорический смысл относился к Церкви, а анагогический связывал текст с библейскими «последними временами». О том, как сложился этот странный способ читать Библию, мы сейчас рассказывать не будем; важно то, что из-за него студенты вынуждены были изобретать очевидно неверные толкования, что он был тяжел, утомителен и, главное, ничуть не помогал Лютеру – или кому-то еще – найти в словах или за словами Библии Бога. Однако именно так христиане читали Библию много лет, – и, конечно, не безвестному молодому монаху было опровергать эту сложившуюся традицию. Но можно представить себе раздражение и досаду Лютера, сыгравшие важную роль в его богословском пути.

Было и другое, заставлявшее Лютера задумываться о том, что, возможно, он – или Церковь – упускает что-то важное. Например, во время пребывания в Эрфуртском монастыре Лютер однажды наткнулся на проповеди Яна Гуса. Любопытно, что проповеди известного еретика монахам, как видно, никто читать не запрещал – но, так или иначе, Лютер их прочел. Мы знаем, что при этом он немало – и неприятно – удивлялся тому, что Гус был объявлен еретиком и сожжен. Однако пока он был не готов говорить об этом открыто или даже с кем-то обсуждать. Пока Лютер хотел только одного: быть смиренным послушным монахом, доверять суждению Церкви. А если его видение расходилось со взглядами Церкви, он говорил себе: должно быть, я чего-то не понимаю, но со временем пойму.

Свои занятия в монастыре Лютер начал летом 1507 года; однако уже осенью 1508 года Штаупиц отправил его в Виттенберг. Обычно монах проводил в своем монастыре всю жизнь – должно быть, того же ожидал и Лютер; но Штаупиц, генеральный викарий ордена, обладал правом посылать монахов туда, где они ему требовались – и сейчас Лютер потребовался ему в Виттенберге. Не предполагалось, что Лютер останется там надолго. И в самом деле, в тот раз он прожил там всего год. Мы знаем, что со временем он вернется в Виттенберг и уже никогда его не покинет; но в 1508 году, отправляясь туда впервые по приказу Штаупица, Лютер ничего подобного еще не предполагал. Возможно, Штаупиц послал его в другой город, видя, что борьба Лютера с грехом лишь изнуряет его, не принося успехов, и полагая, что смена обстановки пойдет ему на пользу. А может быть, имелся у него и далеко идущий план со временем перевести Лютера в Виттенберг насовсем. Штаупиц был там деканом богословского факультета – и, вполне возможно, полагал, что Лютер станет украшением его преподавательского состава.

За год в Виттенберге Лютер многого достиг. Уже 9 марта 1509 года он получил первую свою богословскую степень – бакалавра теологии; и той же осенью сдал экзамен на вторую богословскую степень – бакалавриат по «Сентенциям» Петра Ломбардского, важнейшему и общепризнанному учебнику богословия средневековой Европы. Разумеется, изучал Лютер и Дунса Скота, и Фому Аквинского, и последнего укорял за «чрезвычайную пространность рассуждений»[51]. Там же, в Виттенберге, Лютер впервые принял участие в академической дискуссии – *диспутации*, как это тогда называлось – о догматических принципах. Лютер выступал против широко распространенного убеждения, что богословские идеи нужно просто принимать на веру, без доказательств. В каком-то смысле этот диспут предвещал будущее. Лютер не спешил ниспровергать основы, однако задним числом можно заметить, как росло его недовольство всем, что его окружало. Он слишком высоко ценил истину, чтобы позволить запутать себя софистикой или просто отмахнуться от сомнений. Ему нужны были настоящие ответы – и Библию он хотел читать так, чтобы эти ответы в ней найти; и уже начал подозревать, что в официальных ответах, которые предлагает ему Церковь, не слишком много правды.

Прослышав об успехах собрата в Виттенберге, некоторые из монахов в Эрфуртской обители преисполнились завистью. Но, так или иначе, после года в Виттенберге Лютеру пришлось вернуться домой. Интересно, что в Эрфурте он не принес обычную присягу, в которой бакалавр обещал получать докторские степени там же, где получал и предыдущие. Почему так произошло – мы не знаем; но отсутствие такой присяги впоследствии создало ему проблемы. Так или иначе, в Эрфурт Лютер вернулся ненадолго; вскоре его занятия были прерваны приказом ехать в Рим.

[51] Там же, 94.

Путешествие в Рим. Aetatis 27

Для поездки в Рим Лютера снова выбрал Штаупиц. Формальная причина, по которой Лютер отправился туда (по-видимому, вместе со своим эрфуртским собратом, занимавшим более высокое положение в ордене, по имени Натин), была в том, что в это время между августинцами возник спор, требовавший разрешения. Одна ветвь августинских монахов, так называемые «августинцы-каноники», очень строго соблюдала все требования устава, а другие монастыри допускали разные послабления. Монастырь в Эрфурте относился к «каноникам». Как генеральный викарий всего ордена, Штаупиц настаивал, чтобы Эрфуртский монастырь – вместе с еще восемнадцатью монастырями «каноников» – перешел под его прямое управление и утратил свою относительную независимость. Намерение Штаупица – и желание его римского начальства – состояло в том, чтобы привести все «канонические» монастыри под его юрисдикцию и помочь монастырям с более свободными нравами приблизиться к высоким стандартам «каноников». Однако эрфуртские братья решительно воспротивились потере независимости. Лютер участвовал в первой встрече по этому вопросу, состоявшейся в Нюрнберге, где монастыри «каноников» решительно отказались подчиниться желанию Штаупица. Эта идея привела их в такое негодование, что они обратились с апелляцией напрямую в Рим – на что имели полное право. Штаупиц на это согласился – и отправил в Рим с апелляцией Лютера, надеясь, что это пойдет ему на пользу.

Но и здесь приходится предположить, что у Штаупица были и другие причины отправить Лютера в это долгое и знаменательное путешествие. Во-первых, Штаупиц, несомненно, верил, что его подопечному будет полезно вырваться из монастырской рутины. Шестнадцать сотен миль до Рима и обратно, пройденные пешком, несомненно, помогут молодому Мартину отвлечься от изнурительного и бесплодного самокопания.

В ноябре 1510 года Лютер отправился в путь. Как ни удивительно, в первый и последний раз в жизни покинул он пределы своего тесного мирка; ведь после Вормсского рейхстага 1521 года, где Лютер был признан еретиком и объявлен вне закона, передвижения его были поневоле ограничены пределами Саксонии. Все путешествие Лютер и его спутник Натин, скорее всего, проделали пешим ходом.

Одну из первых остановок на этом долгом пути Лютер сделал в Нюрнберге, в 140 милях к югу от Эрфурта. Здесь он увидел недавно законченный *Männleinlaufen* – впечатляющие механические часы на башне «Фрауэнкирхе» [церкви Девы Марии] XIV века. Несомненно, это чудо часового искусства должно было его поразить. В центре циферблата восседал император Священной Римской империи: на его одеяния художник не пожалел позолоты. Каждый день, ровно в полдень, двое трубачей вздымали свои инструменты и трубили, а вслед за ними звонари звонили в колокола, барабанщики били в барабаны – и из дверцы в часах плавно выступали семеро курфюрстов, обходили императора кругом и скрывались за левой дверцей. Трижды совершали они свой круг, а затем чудо прекращалось, чтобы вновь свершиться через двадцать четыре часа[52].

Примерно через три дня Лютер и его спутник добрались до Ульма – и здесь, вытаращив глаза, любовались исполинским Ульмским собором, чей 530-футовый шпиль делал его высочайшей церковью в мире – как тогда, так и сейчас, пятьсот лет спустя. Внутренние помещения церкви составляют 400 футов в длину и 160 в ширину, а центральный неф достигает высоты в 136 футов – для тех времен пространство неописуемо огромное. До того, как там установили скамьи, в Ульмском соборе могли поместиться двадцать тысяч человек. Безусловно, ничего даже отдаленно похожего Лютер до сих пор не видывал. Однако позже он замечал: огромность

[52] Эти великолепные часы вместе со всем, что здесь описано, можно увидеть в Нюрнберге и сейчас.

этой церкви, как позднее и римского собора Святого Петра, скорее неприятно его поразила – ведь очевидно было, что такая гигантская церковь не годится для проповеди. Ему это, разумеется, казалось не просто ошибкой, но ошибкой роковой, каким-то трагическим абсурдом. Лютер чувствовал, что в жертву величию здания принесена духовная жизнь людей, которые в нем молятся. Цель Церкви – не поражать красотой и величием интерьеров, а нести пастве слово Божие: если этого не происходит – зачем тогда все?

Дальше путь Лютера пролегал через Швабию, Баварию и дальше, через заснеженные Альпы, величественные и молчаливые. Прибыв наконец в прославленный город Милан, Лютер обнаружил, что не может отслужить здесь мессу – но на сей раз по совсем иной причине, не имеющей ничего общего с его недостоинством. Дело в том, что более тысячи лет назад, в IV веке, епископом города был святой Амвросий Медиоланский. Он ввел особый, так называемый амвросианский обряд: в Милане так служили литургию на протяжении всех одиннадцати веков до Лютера и служат по сей день. Однако Лютер, как и большинство священников не из Милана и окрестностей, был знаком лишь с римским обрядом.

Из Милана монахи отправились в Болонью, на родину старейшего университета, основанного более четырехсот лет назад, в 1088 году; здесь их застигли суровые декабрьские морозы вкупе с тем, что в этом славном городе встречается нечасто – снегопадом.

Из засыпанной снегом Болоньи Лютер и его спутник отправились на юг, во Флоренцию. Здесь лишь двенадцатью годами ранее был осужден за ересь и сожжен на костре Савонарола. Несомненно, Лютер полюбовался здесь потрясающим «Давидом» Микеланджело, законченным всего семь лет назад. Исполинский шедевр высотой почти в восемнадцать футов стоял перед Дворцом Синьории[53]; однако о нем Лютер позднее не упоминал ни словом. Говорят иногда, что Лютер проехал через всю Италию в расцвете Возрождения, но самого Возрождения не заметил.

Из Флоренции Лютер со спутником отправились в Сиену. И наконец, где-то в конце декабря, на Кассиевой дороге взорам их наконец предстала вожделенная цель путешествия: великий сказочный город императоров и пап, Вечный город, город на семи холмах, а также – самое важное для Лютера – город, где были замучены и жестоко убиты за христианскую веру тысячи мучеников, самые известные из которых – Петр и Павел. И всего через пару дней глаза путника из далекой Саксонии узрят их святые мощи! Лютер пал на колени, распростерся ниц на холодной земле и воскликнул: «Благословен будь, святой Рим, истинно святой, ибо здесь пролило кровь свою несказанное множество святых мучеников!»[54]

В Риме Лютер провел около месяца: жил он либо в резиденции главы папских представителей, которому они подали свою апелляцию, либо неподалеку, в монастыре Санта-Мария дель Пополо. История этого не уточняет. Известно, однако, что единственной цели, ради которой монахи прошагали пешком тысячу шестьсот миль, достичь не удалось. Эджидио да Витербо, начальник Штаупица, отдавший приказ о слиянии монастырей, попросту отказался выслушать послов. Выходит, что Лютер с товарищем прошли своими ногами восемьсот миль совершенно напрасно. Так или иначе, об этой стороне своего путешествия Лютер не упоминает вовсе.

Совсем иное дело – духовные возможности, открывшиеся ему в Риме! Об этом Лютер готов был рассказывать всю оставшуюся жизнь. Нигде больше в мире не открывался смертным такой доступ к вечным сокровищам! Рим, престол веры, предоставлял паломникам почти безграничные возможности просвещения и духовного совершенствования – поэтому сюда спешили благочестивые странники со всех концов Европы. Оказавшись в Риме, чужестранец не знал, с чего начать, за что приняться. Почти обязательным условием для каждого уважающего себя пилигрима был однодневный марафон по семи главным римским соборам: не вкушая

[53] В наше время на этом месте стоит копия «Давида», а оригинал хранится в галерее Уффици.

[54] Там же, 87.

с утра ни кусочка пищи, требовалось посетить каждый, закончить собором Святого Петра и там отстоять мессу. Это богатство возможностей поразило и оглушило Лютера. Быть может, теперь, в Риме, Бог наконец-то откроет дверь, в которую Лютер неустанно стучал? Быть может, мучительные *Anfechtungen,* калечащие в этой жизни и отнимающие надежду на жизнь грядущую, наконец останутся позади?

Откровенно сказать, Рим 1510 года, в котором побывал Лютер, был лишь бледной тенью былого славного Рима цезарей. Двенадцать миль Аврелиановых стен, возведенных в III веке – двадцати футов высоты, почти с четырьмя сотнями башен – огораживали теперь изрытый ямами пустырь, прибежище коз, коров и бродячих собак; странным образом, даже проститутки и банды разбойников, наводнявшие город, обходили его стороной. Далеко было этому Риму и до величественного Рима времен расцвета Возрождения, каким обычно мы его себе представляем, – Рима Микеланджело и «нового» собора Святого Петра.

В сущности, «новый» собор Святого Петра, которому скоро предстояло стать архитектурным чудом света, пока был, так сказать, в зачатке – не в последнюю очередь потому, что на постройку его требовались огромные средства, а денег Риму вечно не хватало. Едва ли Лютер мог хотя бы подозревать, что этот архитектурный проект однажды тесно переплетется и с его судьбой, и с судьбой папства и Церкви, что ему суждено стать одним из факторов, изменивших мир. Молодой монах не подозревал, что ждет его впереди; еще неведомо было ему, что этот город и его пороки станут для него наваждением. Ему было лишь двадцать семь лет; он перешел пешком через Альпы и теперь в восторге гулял по легендарному городу, где встретили мученическую смерть Петр и Павел. Он пришел сюда как христианский пилигрим, чувствуя, что душа его нуждается в духовной помощи – дабы полной горстью зачерпнуть из раскрытой перед ним сокровищницы заслуг.

Еще один способ, помимо покупки индульгенций, которым смиренный христианин мог заработать себе отпущение грехов – поклонение священным реликвиям. За право узреть реликвию, разумеется, надо было сколько-то заплатить; зато в обмен паломник получал индульгенцию, и порой весьма значительную. Например, здесь, в Риме, находилась Каликстова гробница, в которой, по рассказам, покоились кости сорока пап и семидесяти шести тысяч мучеников![55] Пять раз пройдя вдоль и поперек одну из этих катакомб за то время, пока служится месса, паломник получал индульгенцию, позволяющую освободить из чистилища одну душу. Вспомним: в те времена католики верили, что души в чистилище страдают тысячи, даже миллионы лет, – и поймем, что перед соблазном такой сделки устоять было почти невозможно. Конечно, возникает вопрос: кто и как подсчитывал стоимость хождения взад-вперед по катакомбам? Но с другой стороны, какая разница? Перед верующими раскинулся необъятный шведский стол небесных благ – и только отпетый дуралей стал бы колебаться, когда перед ним распростерты такие богатства!

Здесь, в Риме, можно было полюбоваться на веточку от Неопалимой Купины – той самой, что три тысячи лет назад изумила и ужаснула Моисея в Синайской пустыне. Кто бы усомнился, что это та самая ветвь – сами видите, она же не сгорела! Все слыхали, что Иуда продал Иисуса за тридцать сребреников – и кому не хотелось взглянуть на них своими глазами? Так вот, смотрите: вот один из этих сребреников, то самое проклятое серебро. За созерцание этой мрачной реликвии полагалась индульгенция, сокращающая срок пребывания души в чистилище на четырнадцать веков, – почти столько же, сколько прошло со времен этой самой прискорбной сделки в мировой истории.

В Библии об этом не упоминается, однако предание гласит, что перед ссылкой на остров Патмос апостола Иоанна привезли в Рим, к императору Диоклетиану, который, желая унизить святого, приказал остричь ему волосы. Если кто-нибудь из паломников в этом сомневается –

[55] Сейчас мы знаем, что число это сильно преувеличено. Шесть пап и пятьдесят мучеников – это ближе к истине.

смотрите! Вот те самые ножницы, которыми – щелк-щелк-щелк! – орудовал палач-парикмахер. Здесь же, в Риме, покоились мощи святых Петра и Павла, каждое тело – разделенное надвое, чтобы вдвое больше церквей могли получить с них прибыток. Мало того: чтобы извлечь из мощей святых побольше дохода, головы их отделили от тел – и теперь головы эти покоились в архибазилике Латеранского собора святого Иоанна.

Однако благодать этих чтимых святынь осталась Лютеру недоступна – из-за огромных очередей. Не смог он и отслужить мессу в Латеранском соборе святого Иоанна – и очень жаль, ибо считалось, что священник, отслуживший там мессу, тем самым освобождает из чистилища душу своей матери. Мысль странная и неприятная: выходит, матушка Лютера обречена была страдать в чистилище, или и того хуже, только потому, что ему не удалось пробиться через толпу? Какой в этом смысл? Однако Церковь была полна таких загадок – и Мартину, простому грешному монаху, уж точно не приходилось ставить их под сомнение.

В Риме Лютер поднялся по знаменитым «Скала Санкта» (Святым ступеням) – как говорили, мраморным ступеням дворца Пилата в Иерусалиме, по которым поднимался сам Иисус, с которых выслушал Он от собравшейся черни свой приговор: «Распни Его!»[56]. Считалось, что святая Елена, мать императора Константина, в IV веке привезла их со Святой Земли – из того же путешествия за святынями, в котором ей каким-то образом удалось обрести и возвратить «Истинный Крест». Мрамор «Скала Санкта» – как утверждают, тирийский – теперь покрыт деревянным настилом; однако и сейчас паломники ползут по нему на коленях, неустанно читая молитвы, точь-в-точь как Лютер пятьсот лет назад. Во времена Лютера считалось, что, восходя по этим ступеням, необходимо на каждой прочесть *Pater Noster* («Отче наш»)[57]. Тем самым можно серьезно уменьшить страдания в чистилище для всех своих родственников – так что Лютер всерьез сокрушался, что его дорогие родители еще живы. Вообразите себе такое положение! Он отчаянно желал, чтобы его пребывание в Риме послужило родителям на пользу, чтобы спасло их от зияющей пасти чистилища, – однако, поскольку они еще дышали земным воздухом, все надежды его были тщетны! Впрочем, по счастью, дед Лютера по имени Гейн покинул этот мир вовремя – и получил выгоду от пламенного благочестия внука. Лютер честно прочитал *Pater Noster* двадцать восемь раз; однако, когда поднялся на вершину этого святого зиккурата, страшная мысль вдруг охватила его. Годы спустя он рассказывал об этом: еще стоя на коленях, чувствуя под ногами прохладу мрамора, он вдруг спросил себя: а точно ли все, им проделанное, будет иметь такое действие, как уверенно и авторитетно вещает Церковь? Учение о том, что Церкви дано решать, кто и как долго будет страдать в чистилище, звучало совершенно ясно. В конце концов, разве Иисус не вручил Петру ключи? И все же, прочтя *Pater Noster* двадцать восемь раз, коленопреклоненный Лютер усомнился. «Что, если это неправда?» – спросил он себя. Откуда пришла к нему эта мысль: от дьявола, соблазнившего Еву в райском саду усомниться в обетованиях Божьих – или же была вызвана искренним желанием знать истину, иначе говоря, явилась от Бога? Ответа Лютер не знал – и знать не мог; но скоро, уже скоро он начнет искать ответ.

Еще одно неприятно поразило Лютера в Риме – вопиющая некомпетентность и цинизм многих здешних священников. Ничего даже отдаленно похожего Лютер до сих пор не видывал. Одно дело – в чем-то сомневаться и задаваться вопросами; но что сказать о священниках, совершающих таинства с презрительным равнодушием, иной раз даже с откровенными богохульствами и насмешками над тем, что делают? Виделось в этом что-то дьявольское. Прежде всего, Лютер заметил, что мессы здесь служатся прямо-таки со сверхъестественной быстротой: даже он, прекрасно знающий текст службы, не мог разобрать в нем ни слова. Можно было подумать, священников в Риме тайно заменили рыночными торговцами, чей главный талант

[56] Лк. 23:21 (New International Version).

[57] Мф. 6:9–13.

– умение говорить быстро и без умолку! Лютер привык приступать к мессе с благоговением, почти со страхом – и такое бесцеремонное отношение к ней наполняло его ужасом. Что же называть «мертвой верой» или «мертвыми делами», если не это искореженное, обессмысленное священнодействие во всем его фарисейском уродстве? Лютер ясно видел: в этих священниках нет ни капли уважения к тому, что они делают, – они лишь спешат сбросить с плеч эту надоевшую обязанность и устремиться к каким-нибудь более важным или приятным делам. Официально месса не могла занимать менее двенадцати минут; однако Лютер вспоминал, что в базилике святого Себастьяна служилось по семь месс в час – следовательно, каждая меньше девяти минут. И когда сам Лютер служил мессу, следующий в очереди священник, сгорая от нетерпения, буквально дышал ему в спину: «Быстрее, быстрее! – приговаривал он и саркастически добавлял: – Отпусти уже Мадонну к ее Сыну!» – шутка о пресуществлении Святых Даров. Там же, в Сан-Себастьяно, наблюдал Лютер и совсем безумную сцену: двое священников служили мессу одновременно, у одного и того же алтаря, отделенные друг от друга лишь живописным полотном.

От других монахов Лютер слыхал соблазнительные истории, смущавшие его невинную и благочестивую душу. Вспоминал он, например, как на одной трапезе монахи покатывались со смеху, рассказывая друг другу, что иногда на мессе вместо формулы пресуществления произносят богохульные слова: «*Panis es et panis manebis, vinum es et vinum manebis*» – «Хлеб ты и хлебом останешься, вино ты и вином останешься». Для Лютера пресуществление было великим, несказанным чудом, святыней, за которую он готов был жизнь отдать, – как отдали жизнь за веру многие христиане в минувшие века; слыша такое, он не знал, что и думать. Обмениваясь такими шутками, монахи, должно быть, даже не подозревали, что кто-то за столом не разделяет их вольнодумства. Куда ни падал взгляд Лютера – отовсюду отвращался в ужасе; везде видел он, говоря его собственными словами, «хаос, грязь и бесстыжих священников, что мочились на глазах у людей и открыто ходили к шлюхам».

Прежде чем спрашивать, неужели никто, кроме Лютера, этого не замечал – вспомним, что всего за пять лет до того Рим посетил Эразм Роттердамский и обнаружил в нем такие же ужасы. «Собственными ушами моими, – рассказывал Эразм, – я слышал самые отвратительные богохульства против Христа и Его апостолов. Многие мои знакомые слышали, как священники из курии провозглашали мерзости во всеуслышание, иной раз даже на мессах, где их слышали все вокруг»[58].

[58] Цит. по: Oberman, *Luther,* 149.

Любопытный случай Анны Ламинит

Наконец настало время для Лютера и его спутника отправиться домой – восемьсот миль пешим ходом до Эрфурта. Об их обратном пути мы знаем мало; но известно, что, вернувшись в пределы Германии, они остановились на пару дней в Аугсбурге, где Лютер посетил Анну (или Урсулу) Ламинит, женщину-аскета, прославленную своей невероятной историей. Слава об этой святой облетела всю Германию и сопредельные страны: уже четырнадцать лет подвижница почти не вкушала пищи! Говорили, что она поддерживает свои силы лишь Святым Причастием. К этому прибавляли и еще более поразительную подробность: будто бы все эти годы святая не нуждалась в естественном облегчении – не ходила ни «по-большому», ни даже «по-маленькому»! Прозвище «Ламинит» – это сокращение от *Lass-mir-nicht* («не оставь меня»); отчего подвижница получила такое прозвище, остается неясным. Лютер и сам был не чужд аскетизму – но, разумеется, от таких его крайностей был далек, как небо от земли. Отказаться не только от всех удовольствий жизни, но даже от еды и питья, вместе с теми телесными явлениями, что им сопутствуют – значило уже при жизни почти что переселиться на небеса; выходило, что заработать себе путь в рай «делами святости» все-таки возможно! Не есть, не пить, не мочиться и не испражняться – это ведь и значит, в самом буквальном смысле, победить мир, перейти в некое иное состояние, в котором теряют актуальность даже базовые физические потребности – стать, так сказать, равным ангелам. Такое достижение являло собой венец святой и монашеской жизни; и, разумеется, когда представилась возможность, Лютер не мог пройти мимо этой женщины, воплощающей в себе совершенство, к которому он стремился.

Лютер надеялся узнать от нее какую-то тайну, нечто такое, что осветит и направит его путь; и, когда они наконец встретились, молодой монах спросил, хочет ли она скорее умереть и попасть на небеса. Ведь, казалось, все, что она делает, направлено именно на это – можно сказать, она уже на полпути туда! Однако ответ Анны поразил Лютера. «О нет! – ответила она, а затем пояснила: – Здесь мне все знакомо, все понятно – а там кто знает, что может случиться!» Изумлению Лютера не было предела. Как может прославленная святая говорить такое?

Однако сейчас мы понимаем, почему она так ответила. Оказывается, так называемая Анна Ламинит, прославленная подвижница, на деле была отпетой мошенницей. Расскажем вкратце о ее жизни: это послужит хорошей иллюстрацией к тому, до каких нелепостей доходило в те времена превознесение «иномирного» аскетизма – того, к чему так стремился и сам Лютер, но в конце концов отверг.

Женщина, впоследствии принявшая имя Анна Ламинит, родилась в 1480 году в бедной аугсбургской семье. В этом городе она и выросла; однако еще в совсем юном возрасте за «беспутную жизнь» была бита кнутом у позорного столба и изгнана из Аугсбурга. Но в 1497 году она вернулась: ее приняли к себе некие христиане, содержавшие дом призрения. Здесь, по всей видимости, Анна заинтересовалась религией и нахваталась благочестивых словечек и манер. Вскоре она начала изображать из себя «голодающую мученицу» и рассказывать о своих видениях: тех, кто приходил к ней, встречала в мрачном черном одеянии и потчевала историями о том, как ей являются святая Анна и ангелы. Вскоре слава о «живой святой» начала распространяться: посетил ее даже император вместе со своей второй женой, наивной и ребячливой – и обоих супругов Анна положительно очаровала.

Разумеется, после этого слава Анны выросла до небес: богатые и знаменитые протоптали дорожку к ее двери, спрашивая у нее совета во всех делах, больших и малых. Влияние ее сделалось так велико, что не раз она возглавляла городские покаянные процессии, в которых участвовали все местные священники, монахи и монахини. А в июне 1503 года участие в такой процессии приняла супруга императора Максимилиана вместе со всеми своими придворными дамами! В черной власянице, со свечой в руках шла императрица посреди торже-

ственного шествия. Богатые и влиятельные друзья Анны осыпали ее дарами, которые, вследствие их религиозного назначения, не облагались налогами – и богатство «бессребреницы» росло как на дрожжах.

Однако сестру императора Кунигунду, герцогиню Баварскую, было не так легко обмануть. Сама женщина глубокой веры и благочестия, она ощутила в этих «чудесах» какой-то подозрительный душок и решила разобраться. Ничего не говоря брату, она познакомилась с Анной и пригласила ее съездить вместе с ней в некий монастырь в Мюнхене – а там распорядилась, чтобы Анну поселили в особой комнате для гостей. В стене этой комнаты имелся глазок, через который герцогиня Кунигунда, ночующая в соседних покоях, могла наблюдать за всем, что делает Анна: так она надеялась ее разоблачить. Так и вышло: Анна приняла приглашение – и скоро попала в ловушку. Оказывается, оставшись в своих покоях одна, «голодающая» разворачивала свертки со всевозможными лакомствами и деликатесами – от сочных груш до густо наперченных пирожков – и наедалась до отвала. Что же до естественных испражнений – все, что выходило из ее тела, Анна заворачивала в тряпки и преспокойно выбрасывала за окно. Убедившись, что подозрения ее были справедливы, герцогиня вместе с еще несколькими видными людьми приступила к Анне, обвинила в обмане и, чтобы раз и навсегда положить конец притворству, заставила ее есть и пить перед всеми. После этого потребовала, чтобы Анна бросила свои фокусы и отныне жила честно – на что та нехотя согласилась, – и отпустила ее в Аугсбург. Однако, вернувшись домой, Анна тут же забыла о своем обещании и продолжила «голодать».

К этому времени широко распространились слухи, что она состоит в связи с несколькими видными мужчинами в городе, в том числе с викарием местной церкви, а также с очень богатым и влиятельным купцом по имени Антон Вельзер. В последнем сомневаться не приходилось, ибо от этого Вельзера Анна родила сына, на содержание которого тот выделил кругленькую сумму – тридцать гульденов в год. Ребенок вскоре умер, однако Анна много лет скрывала это от Вельзера, не желая терять ежегодный доход.

Когда герцогиня узнала, что в Аугсбурге Анна продолжает разыгрывать тот же спектакль, терпение ее лопнуло. Она рассказала обо всем императору, своему брату, и тот приказал изгнать Анну из Аугсбурга. Однако, поскольку она согласилась оставить свое состояние городу, ей разрешили покинуть Аугсбург с достоинством – в роскошной карете, купленной на деньги Вельзера.

Анна отправилась в женский монастырь в Кемптене, в шестидесяти милях к югу, и там продолжила практиковаться в актерском мастерстве; а затем, разоблаченная и там, бежала на север, в Кауфберген, и сошлась там с овдовевшим мастером-оружейником, изготовителем арбалетов, по имени Ганс Бахман. Пара вместе отправилась во Фрибур в Швейцарии и там в ноябре 1514 года обвенчалась. Однако несколькими годами позже, в 1518 году, Анну все-таки настигло возмездие за бесчестную жизнь. Вельзер решил отправить сына, которого никогда не видел, в школу – и написал Анне, прося прислать мальчика к нему. Однако сына Вельзера не было в живых уже много лет. В отчаянии Анна решила отправить вместо него своего пасынка, сына Бахмана: он был примерно того же возраста, что и сын Вельзера, останься тот в живых. Однако Вельзер каким-то образом раскрыл обман – и с гневом узнал, что уже много лет платит тридцать гульденов в год на содержание давно умершего ребенка. В ярости он потребовал правосудия; Анну арестовали во Фрибуре и судили. Без пыток призналась она во всем – и была приговорена судом к сожжению на костре, впрочем, затем «милостиво» замененному на утопление. Анну должны были зашить в мешок и опустить в воду в определенном месте реки Зане, «пока душа не покинет тело». Суровый приговор был приведен в исполнение в назначенный срок, 5 мая 1518 года.

Встреча Лютера с этой «прославленной святой», а на деле – наглой мошенницей без чести и совести служит ярким примером того, что в средневековой Церкви в самом деле что-то прогнило, и прогнило серьезно.

Глава четвертая
Монах в Виттенберге

Когда Лютер вернулся из Рима, эрфуртская братия решила, что, несмотря на неутешительный ответ (точнее, нежелание отвечать) от начальника Штаупица, они все же не станут подчиняться его авторитету. Лютер оказался в затруднительном положении. Для него «начальником» был именно Штаупиц; ему принес он обет повиновения. Поэтому в эрфуртском мятеже против Штаупица Лютер участвовать отказался; однако это вызвало глубокую трещину между ним и большей частью монастырской братии – трещину, которая будет сказываться на его жизни и много лет спустя. Штаупиц, понимая трудное положение Лютера, снова перевел его в Виттенберг, вместе с его близким другом Иоганном Лангом, который в этом споре был с Лютером на одной стороне. Эрфуртские монахи только радовались, что избавились от них обоих. Виттенберг в сравнении с Эрфуртом был тихим, заштатным городишком. Что ж, говорили монахи, если эти двое так обожают Штаупица – пусть сами с ним и живут!

Что думал о своем переводе в Виттенберг сам Лютер, нам неведомо; впрочем, едва ли у него был выбор. Что же касается Штаупица – он, несомненно, радовался. Должность генерального викария ордена обязывала его часто путешествовать по подотчетным монастырям. В Виттенберге ему был необходим заместитель – и не приходилось сомневаться, что Лютер здесь наилучшая кандидатура. Однако, чтобы Лютер мог достойно замещать Штаупица в Виттенберге, ему требовалось получить докторскую степень – достижение, к которому сам Лютер никогда не стремился. Большое впечатление на Штаупица производил не только глубокий ум и способности Лютера, но и его отношение к Библии – по тем временам качество редкое, если не уникальное. Как часто повторял сам Лютер, в то время Библию никто не читал.

Позже, рассказывая о том, как характерно было для той эпохи полное незнакомство с Библией, Лютер не раз приводил в пример своего виттенбергского друга и коллегу Андреаса Боденштейна фон Карлштадта. Он вырос в городке Карлштадт в Баварии и, по примеру многих тогдашних гуманистов, стал называть себя просто Карлштадт, опуская фамилию Боденштейн. Преподавал он в Виттенберге на богословском факультете, пользовался там большим уважением, однако Библию почти не знал. Любопытно, что Карлштадт глубоко уважал Лютера за его знание Библии – однако, по-видимому, ни ему, ни кому другому не приходило в голову, что без этого знания богослову вообще не обойтись. Библии уделяли время лишь те, кто чувствовал к этому склонность – и в Виттенберге, помимо Лютера, таким был лишь один человек: сам Штаупиц. Штаупиц видел, что для Лютера Библия была не просто книгой, такой же, как «Никомахова этика» Аристотеля, томик Ливия или Цицерона. Это была ценность совершенно иного порядка, не сравнимая ни с одной книгой на свете – живое слово Божье, которое нельзя читать так, как читаем мы все прочие книги. Библия вдохновлена Богом; и, когда читаешь ее – следует читать с таким чувством, с таким трепетом, чтобы воистину обонять и ощущать дуновение небес. Если этого нет – все тщетно. Читать таким образом любую другую книгу, на взгляд Штаупица, было бы просто глупостью; но не испытывать такого почтения к Библии – глупость вдвойне. Из этого ясно, почему он так сблизился с Лютером и так надеялся на его помощь.

Под грушевым деревом. Aetatis 28

Выслушав бесчисленное множество исповедей Лютера, Штаупиц прекрасно знал, что Лютер прилежит Писаниям, в них ищет духовное утешение, Бога и ответы на свои вопросы, которые может дать только Бог. Именно такой человек, решил Штаупиц, лучше кого-либо иного сможет замещать его в Виттенберге; так что однажды, в октябре 1512 года, Штаупиц пригласил своего подопечного прогуляться по монастырскому саду и, присев под грушей, завел с ним серьезный разговор. В ходе этого разговора Штаупиц ясно дал понять: Лютеру следует готовиться к получению докторской степени.

Несколько десятков лет спустя, рассказывая об этом своим студентам, Лютер указывал на старое грушевое дерево и говорил: вот под этим самым деревом Штаупиц в тот день спорил с ним и его убеждал.

Разговор вышел долгим и нелегким. Молодой монах решительно заявил своему любимому и уважаемому наставнику, что становиться доктором не хочет – по нескольким причинам. Во-первых, он недостаточно силен и телом, и духом для бремени преподавания и проповедей. Он даже признался Штаупицу, что, по собственному ощущению, едва ли проживет долго: странное убеждение это было, как нам известно, совершенно ложным – но вполне искренним. Должно быть, Лютер ощущал на себе бремя шестилетнего поста и умерщвления плоти. Сейчас, в двадцать девять лет, он был далек от той мощной фигуры, какую мы видим на позднейших портретах Кранаха. Быть может, нам трудно вообразить себе Мартина Лютера худым и костлявым; однако на том жизненном этапе телосложением он явно больше походил на тощего козла, чем на быка. Через семь лет после этого разговора – во время Лейпцигского диспута 1519 года – он, по словам одного очевидца, был так худ и изможден, что сквозь кожу едва не просвечивали кости. Так что в беседе со Штаупицем Лютер не фантазировал, говоря, что здоровье его далеко от идеала. Однако что бы там ни имел в виду Лютер – Штаупиц слишком хорошо его знал. За годы бесконечных исповедей Штаупиц успел узнать, как этот монах склонен к самоуничижению и мрачному взгляду на жизнь, – и теперь, как и прежде, готов был развеять его сомнения шуткой. «Даже если ты скоро умрешь, – сказал он, – что с того? Господу на небесах тоже нужны мудрые советники. Уверен, что докторов Ему там не хватает!»[59]

Это возражение Лютер принял – быть может, с улыбкой; однако были у него и другие аргументы против. Для начала, не слишком ли он молод для докторского звания? Да и монашествует всего несколько лет. Как он будет проповедовать, чему учить? Более того, ясно было, что многие эрфуртские монахи смотрят на его быстрое возвышение с ревнивой завистью – а к таким вещам Лютер был чувствителен. Но Штаупиц ответил: если Лютер примет его предложение, то будет преподавать студентам Библию – перспектива, несомненно, для Лютера привлекательная. Не остановившись на этом, он еще подсластил пилюлю: ничего, кроме Библии, Лютеру преподавать не придется. Чтобы окончательно убедить Лютера, добавил: и никакого Аристотеля в учебной программе! К этому времени к Аристотелю Лютер испытывал настоящее отвращение – и то, что его не придется преподавать, разумеется, очень его порадовало.

Приняв наконец предложение Штаупица, Лютер начал занятия и сумел получить докторскую степень с примечательной быстротой. На церемонии ему вручили Библию, золотое докторское кольцо – три сплетенных вместе кольца, символизирующих Троицу – и особую докторскую биретту. Церемония проходила 18 и 19 октября 1513 года, и Лютер пригласил на нее множество друзей и знакомых, в том числе и эрфуртскую братию – благородный жест с его стороны. Однако многие эрфуртские монахи были сердиты на него еще со времени возвращения из Рима, за то, что он принял сторону Штаупица, а теперь к тому же рвали и метали

[59] LW, 54.

из-за того, что он предпочел получить степень в Виттенберге, а не в Эрфурте. Поэтому на праздник они не явились, и, мало того, пытались добиться того, чтобы его лишили степени. С их точки зрения, став доктором в Виттенберге, Лютер предал присягу, приносимую всеми эрфуртскими монахами, в которой они клялись продолжать свои занятия в Эрфурте. Однако Лютер такой присяги не приносил, почему – не вполне ясно. Так или иначе, Лютер был глубоко задет тем, что былые друзья и наставники сделались теперь его врагами. Особенно яростно выступал против Лютера Натин: с этих пор он стал его врагом на всю жизнь.

Так или иначе, после этого Лютеру пришлось остаться в Виттенберге. Преподавать он начал с 1 августа 1513 года – за два месяца до официального получения степени. Начинались его лекции с шести утра, зимой – с семи утра. Первые два года в Виттенберге Лютер читал лекции о Псалтири, два года спустя начал преподавать Павлово Послание к Римлянам, а еще через два года – Послание к Галатам.

Так сбылась заветная мечта Лютера: теперь он мог – и даже обязан был – изучать Библию без всяких ограничений, сколько пожелает. Ничто не мешало ему теперь выяснить, что отвечает Писание на те или иные вопросы, которые до сих пор ставили его в тупик; быть может, ему предстояло даже найти сказочный золотой ключ – великую мысль, объясняющую все его сомнения, похороненную где-то в глубинах латинского текста. Лютер отчаянно искал истину – истину о том, кто есть Бог, кто суть мы сами, чего ждет от нас Бог, как нам преодолеть бесконечную пропасть между небом и землей, между Богом и человеком, между миром и неизмеримой мукой. К этой истине он стремился неустанно, ибо она лишь одна могла избавить его от тягостных сомнений, от душевной муки, преследовавшей его еще задолго до грозы в Штоттернхайме.

Виттенберг

В истории жизни Лютера немало важных персонажей; пожалуй, полноценным ее героем является и город Виттенберг. В сущности, невозможно отделить от Виттенберга некоторых героев этой истории, прежде всего Штаупица и Фридриха, герцога Саксонского. Фридрих известен также как курфюрст, впоследствии прозванный Фридрихом Мудрым: без него Виттенберг едва ли стал бы тем, чем стал. Еще одной важной виттенбергской фигурой, роль которой в жизни Лютера сложно переоценить, впоследствии станет великий живописец Лукас Кранах.

Современное наше представление о Виттенберге – одном из великих мест, где творилась история – резко отличается от того, что представлял он собой в те дни, когда туда переехал Лютер. В сущности, в сравнении со множеством крупных и славных немецких городов того времени Виттенберг выглядел попросту жалко. Множество городов в Германии – так называемых вольных имперских городов – были столь сильны, что могли пренебречь властью близлежащего князя и обрести подлинную независимость. К таким городам относились Аугсбург, Нюрнберг, Гамбург, Кельн, Страсбург и Базель. В 1512 году, когда сюда переехал Лютер, Виттенберг совсем на них не походил. Однако его ждала великая судьба – ему предстояло стать колыбелью Реформации; и произошло это, как ни странно, благодаря амбициям, выросшим из соперничества между братьями.

Все началось в 1485 году, когда земли бывшего Веттен-Саксонского герцогства оказались разделены между отцом Фридриха Эрнстом и дядей Альбертом. По саксонскому обычаю, младший, Альберт, мог выбирать, какая часть земель достанется ему – и, естественно, выбрал лучшую часть, вместе с главным городом Саксонии, Лейпцигом. Этот раздел Саксонии на так называемые «Саксонию Эрнестинскую» и «Саксонию Альбертинскую» положил начало соперничеству, которому в следующие десятилетия предстояло сыграть весьма важную роль в самых разных жизненных сферах.

Итак, лучшие земли достались брату – а Эрнсту остался жиденький, неприглядный огрызок, слишком длинный и узкий, без какого-либо ярко выраженного центра – и, что самое неприятное, без Лейпцига. В сущности, единственным городом здесь, о котором вообще стоило говорить, был Виттенберг – да и тот сущая глухомань. Однако вместе с этими скудными географическими дарами Эрнсту досталась ценность, из которой при желании можно было извлечь очень многое.

Священная Римская империя в то время представляла собой лоскутное одеяло из трехсот областей, семь из которых управлялись так называемыми курфюрстами. Одни лишь эти курфюрсты[60] обладали привилегией выбирать императора. Таким образом, семеро курфюрстов были сильнейшими фигурами в империи, не считая самого императора. И теперь, как бы в виде утешения за жалкий клочок территории, Эрнст стал одним из них. Политическая власть, связанная с этой ролью, открывала безбрежные возможности для приобретения еще большей власти. Кто знает, чего сможет добиться честолюбивый и деятельный человек на этом месте? Это истории предстояло скоро выяснить: однако этим честолюбивым и деятельным человеком оказался не сам Эрнст, а его сын Фридрих. В 1486 году, всего через год после утверждения на новом месте, Эрнст неудачно упал с коня и умер; было ему сорок пять лет. Новое и важное положение его, вместе со всеми его достоинствами и недостатками, перешло к сыну Фридриху.

Фридриху в то время было всего двадцать три – однако он, как видно, хорошо понимал, как делаются дела на этом свете, и к своей новой роли отнесся очень серьезно. Он исправно

[60] В 1356 году император создал «выборную коллегию», состоящую из семи князей; курфюрстами – слово, по-немецки означающее «князь-выборщик» – начали называть их впоследствии. Четверо из них были светскими правителями, трое – архиепископами. (См. Ozment, *The Serpent and the Lamb*.)

посещал все собрания властителей империи, так называемые имперские рейхстаги, и быстро разобрался во всех политических хитросплетениях. Эти усилия, как мы скоро увидим, окупились уже через несколько лет. Кроме того, он решил превратить заштатный Виттенберг в город, достойный гордого звания столицы курфюршества – и в этом тоже преуспел. Именно пламенное честолюбие Фридриха впоследствии сыграло большую роль в его историческом решении предоставить Лютеру защиту.

Итак, в 1490 году молодой Фридрих принялся всерьез вести Виттенберг к тем высотам, каких, по его мнению, этот город заслуживал. Для начала снес старую крепость Асканиев и начал строить на ее месте прекрасный современный дворец о двух крыльях – хоть строительство и заняло почти двадцать лет. Рядом с дворцом Фридриха была воздвигнута Замковая церковь[61] – разумеется, также великолепная. Прежде всего, она должна была быть достаточно велика, чтобы вмещать – а при необходимости и выставлять напоказ – огромную коллекцию реликвий, которую Фридрих вскоре начал собирать. А еще – пусть тогда об этом никто и не знал – именно к массивным деревянным дверям этой церкви Лютеру предстояло прибить свои «Девяносто пять тезисов», воспламенившие Реформацию. Церковная колокольня возвышалась почти на триста футов и была видна за много миль.

На дворец и на церковь Фридрих денег не жалел. Чем роскошнее, понимал он, тем лучше – и приглашал к себе в княжество художников, среди которых мы встречаем великие имена Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха. Должно быть, особенно гордился Фридрих тем, что Кранах согласился переехать в Виттенберг. Дом его стал самым благоустроенным в городе, и дело процветало. Фридрих даже сделал его официальным придворным художником с титулом *Pictor ducalis* (художник герцога).

[61] Замковая церковь по-немецки – *Schlosskirche*.

Альбрехт Дюрер. Портрет Фридриха Мудрого, курфюрста Саксонского

Понимал Фридрих и то, что столице курфюршества не обойтись без университета. Владения его дядюшки Альберта включали в себя Лейпциг, с прославленным университетом, основанным в 1409 году. В 1502 году Фридрих начал наверстывать упущенное – основал Виттенбергский университет и немедленно пригласил своего старого друга Иоганна фон Штаупица преподавать там богословие. Фридрих и Штаупиц знали друг друга много лет – познакомились они, возможно, в Гримме, где Штаупиц посещал школу при августинском монастыре. Как подсказывает приставка «фон» перед фамилией, Штаупиц тоже происходил из знатного дворянского рода. Докторскую степень по богословию он получил два года назад в Тюбингене, а через год после переезда в Виттенберг стал деканом тамошнего богословского факультета. В мае 1507 года он был также избран генеральным викарием «канонической» ветви августинского ордена. Именно из-за обязанностей генерального викария, надзирающего над несколькими монастырями, ему понадобился в Виттенбергском университете заместитель – и эту роль он возложил на молодого, но талантливого Мартина Лютера. Знакомство Фридриха со Штаупицем позволило ему привлечь в университет не только Лютера – чьи блестящие лекции привлекали множество студентов, – но и ученого филолога, в совершенстве владевшего греческим, по имени Филипп Шварцердт, позднее ставшего известным под именем Меланхтон, ибо,

по обыкновению гуманистов, он перевел на греческий свою фамилию, состоявшую из слов *Schwarz* («черный») и *Erde* («почва») – вышло «Меланхтон». Сам университет, тоже в соответствии с гуманистическими традициями, получил имя Левкорея – от греческих слов «белый» и «гора». В первый же год в университет поступили четыреста шестнадцать студентов, на следующий год – еще двести пятьдесят восемь. Для городка всего в две тысячи жителей это был огромный рост – и не просто рост населения; следуя честолюбивым замыслам Фридриха, Виттенберг стремительно превращался в интеллектуальную и культурную столицу [62].

Однако университет пока что оставался скорее побочным проектом; основной и неустанный интерес Фридриха состоял в собирании реликвий. Этому увлечению он отдал десятилетия, хорошо понимая, как поднимут реликвии вес виттенбергской Замковой церкви, а следовательно, и самого Виттенберга. Увлечение реликвиями впервые посетило Фридриха в 1493 году, когда он совершил паломничество в Святую Землю – и был поражен тамошним изобилием древних святынь. Путь из Саксонии в Иерусалим по тем временам был, разумеется, долог и труден – и свидетельствовал об искреннем благочестии Фридриха. В пути его корабль бросил якорь на греческом острове Родос – и там-то, сойдя на берег, Фридрих обнаружил и приобрел ценнейшую реликвию, положившую начало его коллекции: большой палец святой Анны, прославленной бабушки Иисуса. За несколько лет до того этот палец совершил путешествие из Иерусалима на Родос, а теперь ему пришлось проделать еще один долгий путь к месту своего конечного пребывания – в *Schlosskirche* в Виттенберге.

[62] Brecht*, His Road to Reformation*, 107.

Реликвии Фридриха Мудрого

Говоря о реликвиях – как мы уже отмечали, когда рассказывали о Риме, – необходимо понимать: далеко не все из них являлись тем, за что их принимали. Например, в гигантской коллекции, собранной Фридрихом, имелась, как говорят, еще одна веточка из Неопалимой Купины. А в центре собрания блистала редкость еще более сомнительная – шип из тернового венца, надетого на Иисуса; и не просто какой-то шип, а тот самый – это удостоверялось официальным документом с гербовой печатью, – что пронзил лоб Спасителя и окропился его кровью. Этот шип два века назад преподнес в дар саксонскому курфюрсту Рудольфу король Филипп VI Французский. Разумеется, почетное место среди этих сокровищ занимал и большой палец, принадлежавший той самой женщине, которой во время грозы в Штоттернхейме Лютер принес свой обет, – той, которую Спаситель называл бабушкой.

Благодаря амбициям Фридриха собрание реликвий в Виттенберге скоро начало соперничать по богатству и славе с самим Римом. Был здесь и зуб святого Иеронима, и части тел других святых: от блаженного Августина и Иоанна Златоуста по четыре части, от святого Бернарда целых шесть. Имелись экспонаты, якобы принадлежавшие самому Христу: обрывок Его младенческих пеленок, крупица того золота, что принесли Ему волхвы, и три драгоценных кусочка мирры, которой помазали Его тело при погребении. Были и тринадцать щепок от колыбели Иисуса, несомненно изготовленной руками святого Иосифа. А вот ни одной косточки самого Иосифа, увы, в Виттенберг не попало. Зато – смотрите-ка! – вот волосок из бороды Иисуса, а рядом четыре волоска с головы Его матери. Кроме этого, Деву Марию представляли здесь три лоскута от ее ризы и четыре – от пояса. Имелось и семь лоскутков покрывала, забрызганного кровью Иисуса. Помимо пищи духовной, воспламеняющей благочестивые аппетиты верующих, почетное место в коллекции занимала и пища самая что ни на есть физическая: кусочек того самого хлеба, что подавался полторы тысячи лет назад на Тайной Вечере, и сосуд с несколькими каплями грудного молока Девы Марии. О том, как и почему молоко это не попало по назначению и вместо желудка младенца Иисуса отправилось в сосуд – история умалчивает. Был здесь и лоскут от одеяний Иоанна Крестителя, и обломок того самого камня, на котором стоял Спаситель, когда оплакивал Иерусалим. Был целый скелет одного из младенцев, погубленных Иродом, и еще 204 разрозненные кости других безвинно пострадавших младенцев. И, наконец, венец коллекции – тридцать пять щепок от самого Животворящего Креста! Но нет, это еще не венец: вот поистине чудесный экспонат – перо ангела! Происхождение его осталось тайной.

С годами коллекция Фридриха росла и росла – и притягивала в Виттенберг бесчисленное множество паломников, а с ними и их деньги. Уже в 1509 году Лукас Кранах создал 124 гравюры, иллюстрирующие каталог реликвий, сверяясь с которым, пилигримы могли найти дорогу в этом бесконечном лабиринте сокровищ и диковинок. В Замковой церкви, где выставлялись все эти реликвии, постоянно служили мессы – тоже серьезный источник дохода. Церковные отчеты показывают, что во время этих месс было сожжено 40 932 свечи, то есть, в общей сложности, около 7 тысяч фунтов воска. К 1520 году в коллекции Фридриха находилось 19 013 экспонатов, и было подсчитано, что всякий, кто узрел эти святыни – и принес все сопутствующие пожертвования, – сокращает время мучений в чистилище для себя или для любого из своих близких почти на два миллиона лет. Точнее, на 1 902 202 года и 270 дней[63].

[63] Bainton, *Here I Stand*, 57.

Виттенбергский профессор

Итак, Лютер поселился в Виттенберге. В 1513 году это был город из 384 домов, в сравнении с предыдущими местами жительства Лютера – Айслебеном, Мансфельдом, Айзенахом и Эрфуртом – очень скромный и малолюдный. Несмотря на амбициозные планы курфюрста, пока что он оставался «точкой на карте» посреди саксонской глухомани. Однако невзрачность Виттенберга и малочисленность его жителей в какой-то мере послужила Лютеру на пользу: впоследствии виттенбергские жители ассоциировали себя с ним и защищали его с такой готовностью, какой, быть может, не проявили бы жители более крупного и развитого города.

Итак, здесь, на задворках Саксонии, Лютер начал преподавать в университете – и скоро оказался занят по горло. Некоторые полагают даже, что Штаупиц специально загрузил его обязанностями, желая отвлечь таким способом от мучительных *Anfechtungen.* Высокообразованный, талантливый и яркий, Лютер был здесь нарасхват: обязанности его все росли. В 1514 году он сделался проповедником в городской церкви Виттенберга. Викарием Виттенбергского монастыря он уже был, но в 1515 году Штаупиц назначил его викарием еще одиннадцати монастырей, которые Лютеру следовало теперь регулярно посещать и надзирать за ними. В письме к другу Лангу осенью 1516 года Лютер так описывал свои труды:

> Право, мне не помешал бы писец или секретарь, да не один, а двое. С утра до вечера я только и делаю, что пишу письма… Я проповедую в монастыре, читаю во время трапез, каждый день просят меня проповедовать в городской церкви, а еще я должен следить за учебной программой, а еще я викарий, то есть приор одиннадцати монастырей. И этого мало: я – смотритель рыбных прудов в Лайтцкау и в Торгау. Еще я вовлечен в диспут с жителями Херцберга… Читаю лекции о Павле, собираю материал для лекций о Псалтири… Едва остается время на ежедневные [монашеские] молитвы или на то, чтобы отслужить мессу. А кроме всего этого, есть ведь у меня и собственные борения с плотью, с миром сим, с дьяволом. Суди теперь, что я за бездельник![64]

Быть может, самым важным прозрением Лютера в эти два года, когда он читал лекции о Псалтири (1513–1515), стало то, что единственный способ читать слово Божье – смотреть на то, что скрывается за словами. Читая Писание поверхностно, формально, мы упускаем самое главное – Бога. Прочесть слова на странице – на это способен и дьявол; но лишь жаждущим истины Бог открывает то, что видит Сам – ту истину, что таится в этих словах и вокруг них. Именно этот сверхрациональный элемент придает словам их контекст и глубинный смысл. Фарисеи и прочие законники держались за букву закона; однако, чтобы читать не просто слова, сказанные Богом, а слово Божье, необходимо получить от Бога откровение – а это, в свою очередь, требует глубокого почтения, неослабного внимания и молитвы. Читая слово Божье любым иным способом, мы упускаем скрытую в нем духовную истину – а значит, чтение становится бессмысленным.

Делая эти наблюдения, Лютер, несомненно, задумывался о бесчисленных часах, что сам он и другие монахи проводили за ежедневным чтением и пением псалмов, иной раз повторяя их с чувством и осмысленностью канарейки или попугая. Лютер чувствовал: это не просто неверно – это ожесточает сердце и мешает ему воспринять глубинный смысл. В каком-то смысле это кощунство – так бездумно читать слово Божье. Его нужно воспринимать сердцем, всем своим существом. Даже сатана в пустыне безошибочно цитировал слова Бога, обра-

[64] LW, 48:27–28.

щенные к Иисусу, – но что это было, если не изощренное богохульство? Читать Писание, не вступив в присутствие Бога, не испросив у Бога понимания этих слов, – значит поступать не лучше дьявола.

В это же время Лютер размышлял о том, что пребывание в Церкви Христовой неизбежно требует от верующего вступления в духовную битву. Он хорошо помнил: до IV века, когда император Константин официально объявил Римскую империю христианской, множество мужчин и женщин страдали и умирали за веру – и верил, что эти страдания и битвы продолжаются и теперь, и будут продолжаться до самого Христова пришествия. Сейчас, говорил он, борьба идет в стенах самой Церкви – борьба с теми, кто искажает учение о Боге и глубинный смысл слова Божьего. Прежде враги обитали вне Церкви, но теперь пробрались в Церковь, даже заняли высокие посты. Позднее Лютер называл таких «нечестивыми прелатами»[65]. В борьбе с ними тоже приходится страдать, но это страдание за правое дело. Всякий, кто желает следовать за Христом, не должен страшиться страданий во имя Его – в чем бы они ни состояли. Мысль, что можно стать добрым христианином, просто набив себе голову, как сундук, знаниями, не просто неверна – это дьявольский соблазн. Именно за это Христос клеймил фарисеев: они знали Тору вдоль и поперек, но не жили так, как сами учили. Христианская вера – дело не ума, но сердца и всего человека. Отводить ей лишь чердак учебы и знаний – значит ничего в ней не понимать. Сам Лютер ясно это понимал – и подчеркивал в своих лекциях.

Уже в 1513 году Лютер был убежден, что Церковь Христова испытывает предсказанный в Библии упадок, – процесс, который закончится явлением антихриста и битвой его со святыми Божьими. В этом вопросе на Лютера влиял в основном блаженный Августин, однако чувствовалось и влияние святого Бернарда Клервоского. Бернард, причисленный к лику святых всего через двадцать лет после своей смерти, в 1153 году, учил, что в истории Церкви сменят друг друга «три века». Первый – эпоха мучеников, когда христиан гнали и убивали за веру; второй – эпоха еретиков, когда сами христиане исказят церковное учение; а третья и самая ужасная эпоха начнется в последние дни, когда Церковь настолько падет и развратится, что из нее восстанет антихрист. Лютер считал, что сейчас Церковь входит в эту третью, последнюю стадию. Торговля индульгенциями глубоко его возмущала; не раз он говорил об этом своим студентам. Он был убежден, что такое злоупотребление церковной властью – ясный признак последних времен, о которых говорил Христос. «На мой взгляд, – говорил он, – продажа индульгенций – это одно из тех безумий и извращений, которые Евангелие от Матфея называет в числе признаков последних дней»[66].

Начиная с 1513 года, в своих библейских лекциях Лютер нередко критиковал принятые способы чтения Библии или деяния Церкви, не согласные с библейским учением; однако он не стремился привести свою критику в систему и вступить с Церковью в бой. Подобно Эразму и другим критикам Церкви, он высказывал свое мнение смиренно, в надежде помочь и другим увидеть то, что видит сам. Быть может, еще одна причина того, что огонь речей Лютера не разгорался до 1517 года, – в том, что до этого года у него, так сказать, не было богословского пороха для стрельбы. Порох этот нашелся в мистическом прозрении, которое сам Лютер позже назвал «опытом клоаки». Лишь тогда свет с небес озарил его и помог увидеть то, что прежде скрывалось во тьме.

[65] Цит. по: Oberman, *Luther*, 252.

[66] Цит. по: там же, 71.

Спалатин

В 1512 году в Виттенберг переехал еще один важный герой нашей истории. Это был Георг Буркхардт, более известный как Спалатин – один из кружка гуманистов Эрфуртского университета, оказавших на молодого Лютера большое влияние.

Спалатин отличался таким талантом и личным обаянием, что в 1509 году его рекомендовали Фридриху Мудрому в качестве наставника для его племянника. Брат Фридриха герцог Иоганн (известный также как Иоганн Твердый) много лет спустя, после смерти Фридриха, унаследовал его курфюршество, а за ним, после его смерти в 1532 году, стал править сын его Иоганн Фридрих I (он же Иоганн Великодушный); все три курфюрста сыграли важную роль в жизни Лютера. Что же касается Спалатина, он быстро завоевал и глубокое уважение, и высочайшее доверие Фридриха. В 1512 году Фридрих назначил его своим библиотекарем и поручил ему важнейшую задачу – создание библиотеки нового университета. Со временем Спалатин сделался личным капелланом и секретарем Фридриха, так что в конце концов все дела Фридриха начали проходить через его руки.

Быстро укрепилась и дружба Спалатина с Лютером. Лютер был всего на год или на два его старше, однако, как видно из их обширной переписки, Спалатин вполне доверял ему как своему духовному и богословскому руководителю. Спалатин сделался посредником между Лютером и Фридрихом – а без Фридриха история Лютера была бы совсем иной. Любопытно и даже странно, что Фридрих и Лютер так ни разу и не встретились лично; общались они всегда через посредство Спалатина.

Лукас Кранах

Лукас фон Кранах появился на свет в городке Кронахе, от которого, разумеется, и получил свое имя. Именно Кранах собственноручно сделал скромного монаха по имени Мартин Лютер известным всему свету, по всей Европе распространив его многочисленные портреты. Как и в случае со Штаупицем и многими другими героями, без которых этой истории просто не случилось бы, в Виттенберг Кранах попал благодаря Фридриху Мудрому.

На соперничество со своим дядей Альбертом Храбрым – а позже, после смерти дяди в 1500 году, с кузеном, герцогом Георгом Бородатым, впоследствии ставшим заклятым врагом Лютера, – Фридрих никаких денег не жалел. Он решил украсить Виттенберг так, как подобает столице курфюршества – а эта задача, разумеется, требовала и первоклассной живописи. В апреле 1496 года, будучи в Нюрнберге, Фридрих познакомился там со сказочно талантливым Альбрехтом Дюрером, к тому времени уже открывшим собственную мастерскую: слава этого художника стремительно распространялась по Европе. Тогда-то Дюрер написал портрет Фридриха – и Фридрих был настолько впечатлен, что немедленно предложил гению новую, куда более амбициозную задачу: расписать восемь алтарных панелей, впоследствии получивших название «Полиптих семи скорбей». Через несколько лет, решив учредить при своем дворе должность герцогского художника, Фридрих спросил совета у многих друзей и знакомых, в том числе, разумеется, и у Дюрера. Его заверили, что ближе всего к Дюреру по мастерству стоит Кранах – и выбор курфюрста остановился на нем. Итак, в 1505 году Кранах, тогда тридцатитрехлетний холостяк, переехал в Виттенберг. Здесь он получил не только щедрое жалованье, не только все необходимое для работы, но и коня, и богатые апартаменты в замке курфюрста.

Однако то, чем ему предстояло отрабатывать эти щедрые дары, требует особого описания. Быть официальным придворным художником означало нечто гораздо большее, чем время от времени писать маслом шедевры – хотя Кранах занимался и этим, и иные его картины превозносили даже больше, чем прославленные запрестольные образа Маттиаса Грюневальда. Работа эта требовала обширных и разносторонних дарований – которыми Кранах несомненно обладал. Это легко заметить, если сопоставить его возвышенные запрестольные образы с позднейшими сатирическими гравюрами, созданными в соавторстве с Мартином Лютером – шокирующе вульгарными, изображающими пап и кардиналов в самых грязных местах и в самых непристойных положениях. Помимо своих художественных дарований, отличался Кранах и деловой хваткой – успешно руководил огромной мастерской, где трудились другие художники и мастера-ремесленники.

В 1508 году на имперском рейхстаге, желая почтить своего придворного художника, Фридрих оказал Кранаху величайшую честь – даровал ему дворянский герб, созданный специально для него, хоть мы и не знаем, кем именно. Герб изображал пару крылатых змеев в золотых коронах, каждый – с рубиновым кольцом во рту. В тогдашнем немецком фольклоре и короны, и кольца указывали на магическую силу; очевидно, Фридрих имел в виду, что в своем искусстве Кранах – истинный волшебник. Крылья змеев поднимаются вверх и как будто трепещут на ветру, словно языки пламени или лепестки цветов. Один змей извивается на желтом поле щита, второй – над щитом. Их разделяет голубой с золотом рыцарский шлем и несколько зеленых терновых колючек. Согласно Стивену Озменту, исследователю жизни и творчества Кранаха, даже «в мире новоизобретенных гербов щит Кранаха смотрится странно и загадочно»[67].

Кранах прославился скоростью работы, из-за этого получил латинское прозвище *pictor celerrimus* (быстрейший из художников), так что, возможно, крылатый змей передавал также идею быстроты. Кроме того, Кранах, по примеру гуманистов, часто пользовался греческой вер-

[67] Ozment, *The Serpent and the Lamb*, 70.

сией своей фамилии – Кронос, что по-гречески означало «время»; очевидно, это также было связано с быстротой. Понравился ли Кранаху преподнесенный ему в подарок герб – мы никогда не узнаем. Разумеется, особого выбора у него не было, да и сама возможность получить герб несомненно перевешивала любые сомнения по поводу его эстетической ценности. Так или иначе, Кранаху не оставалось ничего иного, кроме как принять этот герб и пользоваться им до конца дней. Дюрер первым начал подписывать свои работы знаменитым значком, в котором зашифровал свои инициалы – и Кранах в первые годы при дворе Фридриха делал то же самое, но с течением времени перешел к использованию в качестве подписи своего змеиного герба, так что можно предположить, что змеи ему понравились – или, по крайней мере, со временем он к ним привык. Во всяком случае, уже в 1514 году он гордо ставил этих змей почти повсюду.

Богатство и славу Кранаха в Виттенберге превосходили, пожалуй, лишь богатство и слава самого Фридриха. В 1512 году, через год после приезда в Виттенберг Лютера, Кранах решил, что апартаменты в замке курфюрста стали для него тесноваты. Он хотел жениться, обзавестись семьей, а для этого требовалось больше места. В том же году он женился на Барбаре Бренгбир из Готы, и та за семь лет родила ему пятерых детей. Желая подготовиться к расширению семейства, а также найти место для большой мастерской, пригодной для всех его разнообразных занятий, Кранах приобрел два просторных дома на главной улице Виттенберга. Один из них уже был самым впечатляющим особняком в городе; но Кранах начал его перестраивать – и трудился над ним больше пяти лет. Сохранились документы, свидетельствующие, что только в 1512 году Кранах закупил 11 500 кирпичей и 6 000 черепиц для кровли. В те пять лет, пока Кранах строил свой особняк – дом номер один по Шлоссштрассе[68], жил он вместе с семьей во втором доме, всего в паре сотен футов вниз по улице, также перестроенном и расширенном. Особняк, законченный в 1518 году, мог похвастаться восьмьюдесятью четырьмя комнатами – все с отоплением, что по тем временам было редкостью – и шестнадцатью кухнями. В 1523 году король Дании, не сумев установить у себя в стране Реформацию, принужден был бежать – и, приехав в Виттенберг, поселился в доме у Кранаха. Имелось у Кранаха в Виттенберге немало и другой недвижимости: многие дома и квартиры он сдавал внаем, и состояние его, как и влияние в городе, росли год от года[69].

Любопытно, что, всеми силами прославляя Лютера и продвигая его идеи, Кранах при этом ухитрился остаться на дружеской ноге с архиепископом Альбрехтом Майнцским, на которого много работал, и с Римско-Католической Церковью в целом. Как видно, Кранах не просто знал, с какой стороны у бутерброда масло – в его случае, как гласит поговорка, масло было с двух сторон.

[68] Дословно «Замковой улице», нем. – прим. пер.

[69] Там же, 90–92.

Реформа изнутри

Представление о Римско-Католической Церкви как о какой-то несокрушимой крепости из золота и мрамора, стоявшей твердо и нерушимо, пока 31 октября 1517 года Лютер не потряс ее здание ударами молота по дубовым дверям *Schlosskirche,* далеко от реальности – сразу в нескольких отношениях. Прежде всего неверна сама мысль, что Церковь была совершенно неспособна к переменам и противостояла любой критике. В ней было немало реформистских движений, каждое с собственной историей – однако ни один реформатор, разумеется, не закончил так, как Лютер, порвав с Церковью и основав собственную. Способы выражения критики или несогласия были различны. Конечно, при неудачном стечении обстоятельств неосторожная или чересчур смелая критика могла закончиться костром. Однако в Церкви времен Лютера существовали известные и влиятельные «диссиденты», близкие по взглядам к самому Лютеру, однако живущие вполне благополучно – например, Эразм Роттердамский или Рейхлин.

Рейхлин

Рейхлин был блестящим ученым-гуманистом, знатоком латыни, греческого и древнееврейского языков. Прославленный Меланхтон, о котором нам еще не раз придется вспомнить, приходился ему внучатым племянником. В 1478 году Рейхлин составил латинский словарь. Однако приверженность древнееврейским текстам однажды вовлекла его в жаркий спор и заставила даже предстать перед римской инквизицией.

Все началось с того, что некий Иоганн Пфефферкорн, иудей, обратившийся в христианство, обратился к императору Максимилиану с предложением конфисковать у евреев и сжечь все книги на древнееврейском. Он полагал, что существование этих книг – одна из главных причин, по которой евреи не обращаются, как он сам, в христианскую веру, и приводил в пример братьев-доминиканцев в Кельне, которые выискивали и уничтожали еврейские книги везде, где могли найти. Он даже попытался заручиться поддержкой Рейхлина. Поначалу тот вежливо отклонил его просьбу, предпочитая остаться в стороне от этого спора. Но затем, в 1510 году, сам император пригласил Рейхлина войти в комиссию для рассмотрения этого вопроса, и тут уж Рейхлину пришлось высказаться без обиняков. В конечном счете он оказался единственным членом комиссии, не согласившимся с тем, что еврейские книги следует изъять и предать огню. Пфефферкорн и кельнские богословы пришли в ярость и напали на Рейхлина за его взгляды.

Весь «казус Рейхлина» скоро приобрел черты борьбы нового гуманизма со старой схоластикой, и борьба вокруг вопроса о еврейских книгах стала делом чести для обеих сторон. Гуманисты, разумеется, ценили всякую литературу, особенно древнюю, так что мысль об уничтожении еврейских текстов была им отвратительна. А схоласты, как и Пфефферкорн, и доминиканцы, были вовсе не чужды антисемитизма. Однако позиция самого Рейхлина была отчасти сомнительной: он защищал не просто еврейские книги, а каббалу, в которой содержались не типично иудейские взгляды на Ветхий Завет, а своего рода иудейский мистицизм, граничащий с оккультными практиками, прямо запрещенными ветхозаветным Богом. Однако главное разногласие Рима и схоластов с Рейхлином состояло не в этом, да и сражение велось отнюдь не на чисто академическом уровне. Борьба сделалась «грязной» почти сразу, когда Пфефферкорн опубликовал памфлет, где прямо заявил, что Рейхлин подкуплен евреями. Рейхлин в ответ выпустил памфлет в свою защиту, а кельнские богословы сделали все, чтобы помешать его распространению. В конечном счете, они преуспели – памфлет Рейхлина был официально конфискован инквизицией.

В 1513 году конфликт дошел до того, что Рейхлина вызвали на суд инквизиции, где он отказался отречься от своего мнения. На этом дело не закончилось – в 1514 году дело Рейхлина рассматривалось уже в Риме. Лютер внимательно следил за ним с самого начала и явно занимал сторону Рейхлина. Услышав, что разбирательство перенесено в Рим, он обрадовался – и написал об этом Спалатину. Слишком уж очевидна была пристрастность кельнских богословов, особенно Ортуина Грация, высмеявшего Рейхлина в ядовито-саркастических стихах. Письмо Лютера к Спалатину датировано 5 августа – и полно энергии и юмора, столь характерных для писем Лютера к ближайшим друзьям:

> Приветствую! До сих пор, ученейший Спалатин, я считал кельнского рифмоплета Ортуина просто ослом. Но теперь, как сам видишь, он сделался псом – да нет, волком в овечьей шкуре, если даже не свирепым крокодилом. Как взбеленился от того, что Рейхлин ткнул его носом в его ослиность (да позволено мне будет такое словоизобретение!). Думал Ортуин совлечь с себя ослиную шкуру и облачиться в величественную шкуру льва – а вместо

> этого претерпел невиданную метаморфозу: сделался то ли волком, то ли крокодилом. И поделом ему: не пытайся прыгнуть выше головы!

Дальше Лютер выражает свое удовлетворение тем, что дело наконец передали в Рим. Очевидно, пока он очень далек от тех взглядов на кардиналов и папу, которые начнет выражать всего несколько лет спустя:

> Одно меня особенно радует – а именно то, что дело дошло до Рима и до Святого Престола, а не оставлено на усмотрение завистливых людишек из Кельна. В Риме – самые ученые кардиналы, и, несомненно, они отнесутся к делу Рейхлина более благосклонно, чем эти кельнские завистники, которые дальше грамматики не продвинулись[70].

Дело Рейхлина повлияло и на дело Лютера, когда в 1517 году он вступил в противостояние с Римом. Многие римские церковники увидели в Лютере просто «еще одного беспокойного немца с гуманистическими симпатиями». А в Германии из-за дела Рейхлина многие ощущали к Риму скепсис и даже враждебность. Сам Рейхлин не покинул Церковь, но нападения на него продолжались вплоть до конца 1517 года, когда Лютер прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «Девяносто пять тезисов». Свара вокруг Рейхлина поглотила весь кислород в европейском христианском мире на десятилетия вперед, и сам Рейхлин восклицал: «Слава богу, монахи нашли себе наконец кого-то еще и теперь оставят в покое меня!»[71]

[70] LW, 48:10.

[71] Lewis William Spitz, *Luther and German Humanism* (Aldershot, U.K.: Variorum, 1996), 85.

Эразм Роттердамский

История Эразма, его критики Церкви и проблем с Церковью куда обширнее и сложнее, чем у Рейхлина – как и история его нелегких отношений с Лютером. Поэтому нам стоит рассказать о нем поподробнее.

Дезидерий Эразм – или Эразм Роттердамский (под этим именем он приобрел известность), родившийся в Голландии в 1466 году, был титанической фигурой своего времени. Прославленный как «князь гуманистов», а в более близкие к нам времена – как один из основателей христианского гуманизма, в своей деятельности он более кого-либо иного воплощал гуманистический призыв «*ad fontes!*» – то есть «назад к первоисточникам!»[72] Основным текстом Библии была в то время латинская Вульгата; и именно Эразм изменил это положение вещей, восстановив оригинальный греческий текст Нового Завета I века н. э. Открыл он для западного читателя и оригинальные труды грекоязычных отцов Церкви. Любовь его к оригинальным греческим текстам была неописуема:

> Ибо где по-латыни у нас лишь ручейки и грязные лужицы, там по-гречески – чистые источники и реки, текущие золотом. Совершеннейшим безумием кажется мне хотя бы мизинцем касаться той ветви богословия, что трактует о Божественных тайнах, не овладев вначале греческим языком[73].

Эразм был независимым ученым, однако питал глубокую преданность Церкви. В двадцать пять лет он был поставлен в священники, и с 1510 до 1515 года преподавал в Куинз-колледже в Кембридже. Греческий он выучил самостоятельно – и в 1516 году опубликовал свое издание грекоязычного Нового Завета с посвящением папе Льву X, быть может, сделанным ради безопасности. Через несколько лет в Вартбурге Лютер будет пользоваться греческим Новым Заветом Эразма, работая над собственным переводом Нового Завета на немецкий. Однако сейчас Эразм особенно важен для нашей истории тем, что, тоже критикуя Церковь, он, однако, сумел удержаться на грани, которую перешагнул Лютер. Эразм был очень популярным писателем – но старался смягчать свою острую критику Церкви, в том числе используя юмор.

В 1504 году Эразм опубликовал книгу, посвященную суровой критике религиозного благочестия своего времени. Называлась она «Энхиридион, или Руководство для воина-христианина». Книга обрела огромную популярность и разошлась мгновенно. Критика Эразма била в основном по религиозному формализму и обрядоверию. Бездумно совершать положенные обряды, писал Эразм, не значит поклоняться Богу. Это фальшивая религиозность – еще хуже, чем никакой. В 1511 году Эразм выпустил еще более популярную «Похвалу глупости». Здесь он высмеивал многочисленные суеверия, присущие римско-католической практике – например преувеличенное почитание святых, доходившее до настоящего поклонения им. В своих писаниях Эразм указывал на многие пороки Церкви, на которые чуть позже будет негодовать Лютер – например аморальность клириков или законнический подход к религии, который он отмечал у многих монахов. Подобно Рейхлину, Эразм поднимал на щит гуманизм, с его желанием докопаться до сути вещей, и противопоставлял его схоластике. Однако при всем этом Эразму как-то удавалось сохранять позицию верного христианина, защищающего истинное церковное учение от искажений. В 1514 году он даже выпустил сатиру, мишенью которой стал сам папа, под заглавием «Изгнание Юлия с небес», – но и это ему каким-то образом сошло с рук. Эразм сурово критиковал бум вокруг реликвий, в том числе явно поддельных. Забавнее

---

[72] Kenneth Scott Latourette, *A History of Christianity* (New York: Harper & Brothers, 1952), 661.

[73] Цит. по: Carlos Eire, *Reformations: The Early Modern World, 1450–1660* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2016), 65.

всего, на его взгляд, вышло с бесчисленными фрагментами «Истинного Креста»: «Если все эти щепки собрать вместе, – писал он, – ими можно было бы нагрузить целый корабль»[74].

Как видим, у Эразма и Лютера было много общего – однако со временем пути их резко разошлись. Прежде всего, дуализм духа и тела, столь привлекательный для Эразма, Лютер считал величайшей ошибкой в понимании благодати и корнем многих других ошибок. Другое различие состояло в том, что Лютер, ясно сознавая проблемы Церкви, не считал, однако, что их можно решить «напрямую». Даже в своих тезисах об индульгенциях он писал, что не только сами индульгенции нуждаются в отмене, но и богословские ошибки, лежащие в основе практики индульгенций – в исправлении. Большая часть «Девяноста пяти тезисов» посвящена именно богословским проблемам, вызывающим подобные извращения в церковной практике. Эразм никогда не обращался напрямую к богословию, не пытался вскрывать богословские проблемы, лежащие в основе подмеченных им заблуждений и пороков, – Лютер же, как ученый экзегет, всегда стремился докопаться до корней: стоит исправить фундамент, полагал он, и следом исправится выстроенное на нем здание.

Однако все они – Эразм, Рейхлин, а позднее и Лютер – искренне надеялись достучаться до Рима и обратить его внимание на те пороки и искажения, что ясно видели сами. Если бы их идеями заинтересовался папа!.. Беда в том, что папы того времени не просто не интересовались исправлением пороков – ярким воплощением и источником этих пороков были они сами. Поэтому, прежде чем перейти к битве Лютера со Святым Престолом, нам стоит не только вкратце описать других известных писателей того времени, споривших с Церковью, но и коснуться того, что представлял собой сам Святой Престол. Мы уже видели Рим с точки зрения Лютера, побывавшего там в 1510–1511 годах; однако взгляд молодого монаха, чужого в этом огромном городе, едва ли способен дать полное представление о том, что творилось в эти годы в цитадели папства.

[74] Цит. по: там же, 112.

Рим

В 1513 году, в тот же год, когда Лютер начал читать библейские лекции, на престол Святого Петра взошел бывший Джованни ди Лоренцо де Медичи. Само папство в эти годы было воплощением порока; сравнивать любого из печального известных шести пап того периода – долгий ряд убийц, развратников и растлителей, от Сикста IV до Льва X – с каким-либо из более поздних пап – все равно, что Медузу Горгону с деревенской старухой. Папы и папство в те времена представляли собой вполне светскую власть, духовное и церковное измерение которой оставалось лишь дополнением – и порой ненужным и утомительным дополнением – к фундаментальной земной реальности. Пап интересовала прежде всего земная власть; а историк Барбара Тачмен в своей книге «Марш глупости» верно отмечает, что «сам процесс получения власти включает в себя средства, унижающие и ожесточающие искателя, так что, достигнув желаемого, он обнаруживает, что получил власть ценой утраты добродетели или нравственной цели своих действий»[75]. В годы, когда Лютер опубликовал свои «Девяносто пять тезисов» – и далее, во время рейхстага в Вормсе, – папский престол занимал Лев X, чья история больше напоминает рассказы барона Мюнхгаузена, чем папские хроники.

Урожденный Джованни ди Лоренцо де Медичи, мальчик, которому в дальнейшем предстояло стать Львом X, еще в самом раннем возрасте был посвящен Церкви; однако в те времена это означало совсем не то, что мы могли бы представить сейчас. Маленького Джованни постригли в монахи[76] в семь лет – а год спустя, благодаря ловкости и настойчивости его отца, он уже стал архиепископом. Восьмилетний архиепископ – звучит, конечно, смешно; однако это показывает нам, до какой степени церковная власть в то время смешивалась со светской. Восьмилетний принц или герцог никого бы не удивил – а церковные титулы, как видим, воспринимались как полные аналоги титулов светских, аристократических. Дальше – больше: в тринадцать лет юный Джованни сделался кардиналом. В виде некоей уступки нормативному представлению о том, каким должен быть кардинал, эту должность он получил *in pectore* (буквально – «во чреве», то есть тайно). Лишь три года спустя, в зрелом и умудренном шестнадцатилетнем возрасте, тайное стало явным, и Джованни, юный принц Церкви, впервые появился на публике в красном кардинальском одеянии и широкополой шляпе.

А в нежном возрасте тридцати семи лет он стал папой. Услыхав о смерти своего предшественника Юлия II, Джованни незамедлительно отправился в Рим. Однако всю дорогу преследовал его мучительный и не слишком почетный недуг – свищ прямой кишки. Когда Джованни прибыл на конклав – собрание, эксклюзивность и секретность которого не знает себе равных в мире, – в виде исключения, ради его высокого положения и уважения, питаемого к нему всеми присутствующими, ему разрешили взять с собой на конклав личного врача. Уже в этом относительно молодом возрасте будущий Лев X был близорук, отличался огромным весом и едва ходил из-за подагры. Как мы уже знаем, именно его конклав решил обуть в легендарные «башмаки рыбака». Но тут всплыла неожиданная проблема: оказывается, избранный папа не был даже священником! В погоне за титулами поставить в священники малолетнего кардинала как-то позабыли. Так что, прежде чем надеть папскую мантию, Джованни пришлось пройти рукоположение, затем стать епископом – и лишь затем официально принять звание папы и имя «Лев X».

---

[75] Tuchman, *March of Folly*, 112.

[76] Традиционно монахам в знак посвящения Богу выбривали или выстригали кружок волос на макушке – тонзуру. Этот обычай связан с преданием, согласно которому нескольких апостолов римские императоры приказали с целью унижения обрить наголо.

Изучая жизнь Льва X и других пап этого периода, не знаешь, с кем их сравнивать – с римскими императорами или азиатскими деспотами. От своих более порочных собратьев папа Лев X отличался относительной безобидностью; злодеяния его не привлекали – зато не было предела его любви к роскоши и шумным развлечениям. Одна яркая история поможет нам понять, с чем имел дело Лютер, когда боролся с Римом, – хотя сам Лютер, к счастью для него, об этой истории не слыхал. Произошла она в 1514 году. Лютер в этот период своей жизни поднимался в четыре часа утра, шел читать лекции о Псалтири, а затем трудился до вечера, бесчисленными способами стараясь приблизиться к Богу и к ближнему. А в восьмистах милях к югу от Виттенберга папу Льва X занимала совсем иная забота: тщательно, словно военную кампанию, планировал и продумывал он жестокую шутку над психически больным.

Жертвой его спектакля стал Джакомо Барабалло, папский приближенный, любитель шуток, каламбуров и остроумных стихов. Как многие по тогдашней флорентийской моде, носил он и церковный титул, ровным счетом ничего не значащий. В то время Барабалло был аббатом Гаэтанским; самого себя он объявил «архипоэтом» и немало развлекал своими стихами Льва, большого любителя и ценителя юмора, пока каким-то печальным случаем не свихнулся («он был хорошим царедворцем, пока не сошел с ума», пишет о нем современник) и не превратился из шутника в мишень насмешек и розыгрышей. Барабалло искренне уверовал, что его поэтический дар выше, чем у великого Петрарки; и Лев решил, что такое преувеличенное мнение его приближенного о себе – отличный повод позабавиться самому, позабавить своих друзей, а заодно и весь Рим.

Итак, однажды Лев объявил, что в день святых покровителей семьи Медичи в Риме пройдет невиданный праздник, именуемый «Космалии», и кульминацией этого празднества станет «бурлескная коронация» Барабалло как архипоэта[77]. Огромная и пышная триумфальная процессия начнет свой путь от Апостольского дворца на площади Святого Петра, где с 1450 года – с самой постройки этого дворца – обитали папы. Весь Рим с нетерпением ждал праздника: то, что предстоит жестокий розыгрыш, понимали все и в Риме, и, кажется, далеко за его пределами – все, кроме самого Барабалло. Напрасно родные умоляли его в этом не участвовать, старались убедить, что его поэтическому гению подобает более величественная церемония – он только отмахивался, уверенный, что все они просто ему завидуют. Лев X лично распланировал каждую мельчайшую деталь этого спектакля – с таким тщанием, словно в этом и состояла главная задача наместника Христова. Именно он предложил провезти Барабалло по Риму верхом на слоне – слоне по имени Ганно, экзотическом подарке от короля Португалии. Этого слона ребячливый понтифик обожал больше жизни – и пришел в восторг от мысли, что в розыгрыше примет участие его огромный толстокожий друг.

Согласно тайному плану, Ганно должен был пронести Барабалло на спине всю дорогу до Тибра, а затем собственно в Рим по дороге Понте Сант-Анджело; а тысячи зрителей, собравшись на обочинах, должны были приветствовать величайшего поэта всех времен и народов, издавая притворные крики восторга и покатываясь от непритворного хохота. *Ma come buffa!*[78]

Любитель втягивать в свои шутовские предприятия всех вокруг, саму «коронацию» великого поэта Лев поручил кардиналу Маттеусу Лангу, суровому немцу, бывшему в то время епископом Гуркским. Чувством юмора Ланг не обладал – и явно считал участие в этом исполинском фарсе ниже своего достоинства; однако от предложения, исходящего из уст папы, трудно отказаться. Лангу предстояло торжественно увенчать бедного безумца шутовской высокой шапкой. В день церемонии римская знать, в веселом нетерпении собравшаяся на «праздник», с самого утра покатывалась со смеху – а Барабалло лучился гордостью: наконец-то его дар оценили по заслугам! В шутовском головном уборе, сияя дурацкой улыбкой, под торже-

[77] Bedini, *Pope's Elephant,* 92.

[78] «Как забавно!», ит. – прим. пер.

ственные звуки рогов и труб направился он к своему огромному «коню». Барабалло приблизился к слону, которого ему предстояло оседлать – и со всех сторон раздались восторженные крики. Немолодому и плотному человеку не так-то легко забраться на спину слону; но после нескольких неуклюжих попыток, сопровождаемых приглушенным хихиканьем зрителей, всадник сумел взгромоздиться в седло – точнее, на высокий резной трон, установленный у животного на спине. Ему вручили лавровую ветвь, и процессия двинулась в путь. Ганно и его седоку предстоял неблизкий путь к реке. Расстояние от дворца до моста составляло три тысячи ярдов, дорога была запружена людьми, что расступались при приближении слона; «и медленно, нетвердыми шагами»[79] Барабалло на слоне двигался к своей цели.

Однако у самого берега Тибра беднягу-поэта и его экзотического «коня» постигла нежданная беда. Шум и крики толпы, вместе с неудержимым громовым смехом, как видно, перепугали бедное животное. Пронзительный вой рожков, рев труб и грохот барабанов – все это оказалось для Ганно слишком. Подойдя к самому Адрианову мосту, он вдруг встал как вкопанный. Напрасно мавр-погонщик, сидевший у него на шее, колол слона острием своей палки и подгонял криками на чужом языке, к вящему удовольствию толпы. Восторгу зрителей не было предела; даже сам Лев, колыхаясь всем своим обширным корпусом, вышел из замка Сант-Анджело, откуда наблюдал за потехой в подзорную трубу. Ганно не желал идти вперед, погонщик орал, толпа уже выла и рыдала; и, наконец, должно быть, решив, что с него хватит, слон взбрыкнул – и сбросил в прибрежную грязь и золоченый трон, и седока. Барабалло перепугался и вымазался в грязи с головы до ног, но остался цел и невредим; дрожащий, грязный, поднялся он на ноги и бросился бежать как безумный – прочь от хохочущей толпы и от своего недолгого триумфа.

А что же стало с Ганно, самым экзотическим обитателем Рима с тех пор, как волчица на берегах Тибра выкармливала своим молоком Ромула и Рема? Увы, в начале лета 1516 года слон захворал, и папские медики не смогли ни определить природу болезни, ни найти лечение. Врачи делали для него все что могли, и сам Лев не отходил от стойла своего любимца. Но Ганно не вставал с одра болезни, и даже любимая забава – обливание посетителей водой – больше его не радовала. Один врач предложил: если уж все остальное не подействовало – попробуем дать мощное слабительное, вдруг да поможет? Мысль интересная; однако, пытаясь понять, как воплотить ее на практике, врачи только чесали в затылках – никогда им еще не приходилось промывать такой огромный желудок! Наконец решено было дать слону редкое, несравненное слабительное – смесь, в состав которой входила немалая доля чистого золота. В самом деле, сундуки Ватикана ломятся от золота верующих – и какое еще ему найти употребление, если не это? Но не помогло и сказочно дорогое лекарство: Ганно испустил дух и был погребен с великими почестями под Кортиле дель Бельведере. Лев X, пораженный потерей друга, сам написал ему длинную эпитафию в стихах и нанял не кого иного, как Рафаэля, чтобы тот – разумеется, тоже на деньги верующих – написал мемориальный портрет Ганно, увы, до нас не дошедший. Впрочем, еще один портрет папского слона дошел до наших дней и хранится сейчас в Оксфорде, в Музее Эшмола.

[79] Аллюзия на: Milton, *Paradise Lost,* bk. 12, line 648.

«Великий поэт» Барабалло едет через Рим на ручном слоне папы Льва. Слона по имени Ганно подарил папе португальский король. К несчастью, вскоре после этой церемонии Ганно умер, хоть его и лечили мощным слабительным, в состав которого входило чистое золото

Глава пятая
Опыт «клоаки»

Если же Господь Бог в этой жизни – в этом Scheisshaus[80] – одарил нас столь богатыми дарами, что же ждет нас в жизни вечной, где все прекрасно и совершенно?
Мартин Лютер

Вряд ли можно сомневаться в том, что переломной датой в истории Лютера стало 31 октября 1517 года. Проследить за хлебными крошками, ведущими нас к этой дате, не так-то легко; однако, по счастью, не все из них склевали птицы, и мы можем составить некоторое представление о том, каким путем Лютер пришел к «Девяноста пяти тезисам». В течение нескольких лет перед этой знаменательной датой Лютер не раз делал на лекциях многозначительные замечания, в которых, если смотреть в ретроспективе, видится предвестие великого мятежа. Например, в 1516 году, объясняя студентам Послание к Римлянам, он прямо высказался против самого Его Святейшества:

> Папа и священники, столь щедро выдающие индульгенции ради поддержки церквей в мире сем, поистине жестоки превыше всякой жестокости, если не заботятся хотя бы так же – а лучше бы гораздо больше! – о Боге и о спасении душ[81].

В начале февраля 1517 года Лютер написал своему другу Иоганну Лангу, вложив в это письмо другое, которое попросил Ланга передать своему бывшему учителю Йодокусу Трутфеттеру. Оба письма касались темы, которая впоследствии станет для Лютера крайне важной – речь шла ни более ни менее как о том, чтобы перевернуть с ног на голову всю средневековую систему образования:

> Нас приучают всему верить, все покорно выслушивать, не сметь даже вполголоса возразить чему-либо из Аристотеля или «Сентенций». И чему не поверят те, кто привык принимать как должное Аристотеля, этого шарлатана из шарлатанов, несущего такую неимоверную чушь, какой ни осел, ни камень молча не снесет!.. Ничего не желаю я так пламенно, как открыть людям истинное лицо этого актера, одурачившего Церковь своею греческой маской, и показать все его невежество и все нелепости. Ах, будь у меня только время!.. Я не знаю более хитроумного соблазнителя талантливых людей, так что, не будь Аристотель человеком из плоти и крови, я бы, не колеблясь, назвал его самим дьяволом![82]

Слова, как видите, сильные. Лютеров вулкан еще не готов к извержению – однако уже пробудился. Разрозненные вопросы и сомнения складываются в целостную картину: все яснее Лютер видит, что Церковь потеряла любовь к истине и разучилась искать истину, что на добрые, честные вопросы она отвечает лишь властным: «Молчи и делай что тебе говорят – а иначе пеняй на себя!» Инстинктивно Лютер понимает, что это неправильно, что это идет против самой сущности Бога и Библии; и в письмах его к Лангу и Трутфеттеру любой, у кого есть глаза, может различить, как разбегаются трещинки по прежде безупречному мраморному фасаду.

---

[80] «В нужнике», буквально «в доме дерьма».

[81] LW, 25:409.

[82] LW, 48:37–38.

18 мая Лютер снова пишет Лангу:

> Богословие и блаженный Августин у нас идут на поправку и, с Божьей помощью, скоро займут в нашем университете первое место. Аристотеля мы помаленьку спихиваем с трона, и окончательное падение его – лишь вопрос времени. Поразительно, как студенты ненавидят лекции по «Сентенциям». В сущности, не стоит и надеяться иметь учеников, если не хочешь учить их подлинному богословию, то есть читать лекции по Библии, или блаженному Августину, или другому видному учителю Церкви[83].

Итак, мы видим, что Лютер явно движется в определенном направлении – как в богословском, так и в прочих отношениях. Однако в том же 1517 году, еще задолго до публикации «Девяноста пяти тезисов», необходимо отметить один крайне важный, на мой взгляд, момент: момент, когда на все, о чем думал и что делал Лютер, пролился, так сказать, первый луч благодати Божьей, когда тучи разошлись и он вдруг ясно увидел то, что все эти годы так напряженно и усердно искал.

[83] LW, 48:42.

«Прорыв» к Реформации. Aetatis 33

Всего за год до смерти Лютер написал предисловие к собранию своих сочинений на латыни. В этом предисловии он рассказывает, как на пути к этому прорыву начал буквально ненавидеть Бога:

> Хоть я и жил безупречной монашеской жизнью, но чувствовал себя грешником перед Богом, и совесть беспрерывно и жестоко меня упрекала. Я не мог поверить, что жизнь моя может удовлетворить Бога. Я не любил – да что там, ненавидел праведного Бога, карающего грешников, и втайне ворчал и гневался на Него, доходя почти до богохульства… Так жил я, снедаемый гневом и муками совести. Однако эти слова Павла [Рим. 1:17] не давали мне покоя, и я пламенно желал их понять[84].

Один из иконических моментов жизни Лютера носит название «опыта в башне». История гласит, что именно в 1517 году – году, изменившем мир, – борьба Лютера с непонятным и смущающим его библейским стихом Рим. 1:17 дошла до апогея. Однако, как случилось и со многим другим в истории Лютера, легенда эта – дошедшая до нас, как и другие легенды о Лютере, из его собственных позднейших рассказов о себе – затемняет действительные события его жизни.

Так или иначе, миг, когда Средние века схлопнулись под собственной тяжестью и уступили дорогу Реформации и будущему, по-видимому, начался с одного мощного прозрения, пришедшего к Лютеру в так называемой Башне Клоаки в Черной Обители в Виттенберге. В 1532-м и затем в 1545 году Лютер упоминал об этом событии, относя его к началу 1517 года.

В комментарии 1532 года об этой минуте, перевернувшей жизнь Лютера, говорится куда более кратко, чем в его собственном позднейшем рассказе. В сущности, это лишь одна фраза, записанная Иоганном Шлагинхауфеном и внесенная в «Застольные беседы». По-немецки она звучит так: «*Diese Kunst hat mir der Spiritus Sanctus auf diss Cloaca eingeben*»[85]. Эта знаменитая фраза означает: «Дух Святой даровал мне это искусство в [или: на] клоаке». Однако слово «клоака» здесь представляет трудность. Лютер, который никогда не мог удержаться от шутки и часто выражал в шутливой форме очень серьезные вещи, подразумевает здесь, что Бог даровал ему прозрение, когда он сидел на толчке. «Клоака» – латинское слово, обозначающее сточную канаву, которое во времена Лютера приобрело значение «отхожее место». Многие англоязычные авторы неверно переводят *auf* как «в», хотя на самом деле этот предлог значит «на» – что как нельзя лучше сочетается с «отхожим местом» или «туалетом». Однако сейчас нам известно, что комната с печью, предназначенная для занятий, в которой Лютер много лет занимался библейской экзегезой, располагалась в башне монастыря, именуемой «Клоака» – именно потому, что в подвале ее находился сортир. Возможно, многие монахи и заходили в эту башню, лишь когда их призывал сюда долг природы. Следовательно, даже если озарение настигло Лютера не прямо на толчке, а наверху, в теплом кабинете, все равно он мог по привычке сказать о «клоаке». Но в замечании 1532 года Лютер явно сознательно играет с двусмысленностью этого выражения – об этом говорит предлог *auf*. Если он и не сидел на толчке в буквальном смысле – явно имел в виду и такое понимание своих слов.

Более подробно сам Лютер писал об этом в 1545 году, за год до смерти; в этом комментарии он объясняет подробно, о каком «искусстве» (*diese Kunst*) говорил в 1532 году:

---

[84] Там же; 34:336–337.

[85] Лютер и его окружение, как правило, бегло говорили по-латыни или, по крайней мере, хорошо ее знали – и из этого примера мы видим, что Лютер часто говорил макаронически, то есть на смеси двух языков, сочетая немецкие слова с латинскими.

> Наконец, размышляя над этим день и ночь, милостью Божьей я уловил контекст этих слов, а именно «В нем открывается правда Божия[86], как написано: праведный верою жив будет». Я начал понимать: правда Божия состоит в том, что праведный живет даром Божьим, а именно верою. Таков смысл этих слов: праведность Божия открывается нам в благовестии – и это праведность дается нам от Бога благодаря нашей вере, как написано: «Праведный верою жив будет». Тут ощутил я себя так, словно рождаюсь заново и вхожу в открытые врата рая. Все Писание открылось мне совершенно с иной стороны. Я начал пробегать Писание в уме, вспоминая аналогичные выражения: дела Божьи – то, что Бог совершает в нас, сила Божья – то, чем Бог делает нас сильными, премудрость Божья – то, чем Бог делает нас мудрыми, мощь Божья, спасение Божье, слава Божья.
>
> И слова «праведность Божья», прежде наполнявшие меня великой ненавистью, теперь исполнили величайшей сладостью и любовью. Так этот стих из Павла стал для меня вратами в рай[87].

Это потрясающее прозрение дало Лютеру фундамент из Писания, прочнейший из возможных, на котором можно было основать величайшую революцию в истории человечества. Шуткой 1532 года о том, что это произошло в самом что ни на есть смиренном и унизительном месте – «на толчке» – Лютер безупречно проиллюстрировал богословские основания своей мысли. Как соответствует это всему, что знаем мы из Библии о Боге, принявшем плоть! Ведь бесконечный, всезнающий и всемогущий Бог, Творец неба и земли, сошел на землю вовсе не на золотом облаке. Он пришел к нам через вопли родовых мук, в крови и слизи, из чрева девственницы, в грязном хлеву, где наверняка воняло навозом. Так приходят в мир люди, и если Бог и вправду решил прийти в мир как человек, – то должен был прийти именно так. Это единственный способ встретиться с нами там, *где мы есть* – и с такими, *какие мы есть*; и, как бы ни казалось это трудно, унизительно или противно – любящий Бог от этого не отшатнулся.

В этом Лютер видел самую суть христианского богословия. Идя нам навстречу, Бог не остановился на полпути – Он прошел весь путь, до самых грязных помоев падшей человеческой природы. Решившись коснуться этой безжизненной гниющей субстанции, святой и любящий Бог подтвердил, что это и есть истина о нас. Мы – не больные, нуждающиеся в исцелении. Мы мертвы и нуждаемся в воскресении. Наша грязь – не наружная грязь, требующая лишь хорошей чистки; мы заражены изнутри, мы отравлены и смердим смертью – и нуждаемся в полном искуплении. Если мы не признаем, что нуждаемся в вечной жизни и можем получить ее лишь из рук Божьих – значит, остаемся в грехах своих и в вечной погибели. Поскольку Бог уважает нас, он может нас спасти, лишь если мы признаем правду о своем положении. Так что в мысль Лютера вполне укладывалось то, что Бог, решив ниспослать ему – недостойному грешнику Лютеру – такое божественное благословение, сделал это именно в тот миг, когда Лютер тужился, сидя на «клоаке». Что может ярче противостать блеску и сиянию папского Рима? Там повсюду позолота; здесь, в Виттенберге, повсюду *Scheisse.* Однако простое, честное дерьмо – настоящее золото в сравнении с претенциозным и искусственным золотом Рима; и все золото Рима – не лучше дерьма в сравнении с бесконечной благодатью Божьей. Дешевая римская благодать – не более чем сатанинская подделка.

Фолькер Леппин, исследователь Лютера, говорит, что у нас есть немало причин понимать «клоаку» именно в узком, специфическом смысле. Основной его аргумент связан с еще одним местом из «Застольных бесед», где Лютер беседует с друзьями о чуде музыки. Вот его слова

---

[86] В оригинальном греческом тексте «праведность Божия» – прим. пер.

[87] LW, 34:337.

по-немецки: «*So unser Herr Gott in diesem Leben in das Scheisshaus solche edlen Gaben gegeben hat, was wird in jenem ewigen Leben geschehen*». Леппин переводит это так: «Если в этой жизни Господь наш осыпал этот нужник такими благородными дарами, что же будет в жизни вечной [где все прекрасно и совершенно]?» Однако, отделив «эту жизнь» от «нужника», Леппин огрубил высказывание Лютера. Лучше перевести его так: «Если Господь наш в этой жизни – в этом нужнике – осыпал нас такими благородными дарами, что же будет в жизни вечной, где все прекрасно и совершенно?» «Эта жизнь» и «нужник» – одно и то же: ненавистная, пакостная, попросту *дерьмовая* жизнь!

В этом все дело. К. С. Льюис выразил ту же мысль более изящно, сказав, что в этом мире мы живем «в стране теней»; но Лютер, вполне предсказуемо, выразился куда прямее и жестче. Наша жизнь – «нужник» в сравнении со славой небес; и Лютер поражается немыслимой щедрости Бога, бросающего в нашу здешнюю грязь славные небесные дары, такие как музыка, – предвестие несравненно более щедрых даров в жизни будущей. Леппин показывает, что Лютер воспринимал нашу здешнюю жизнь как «клоаку» – и, следовательно, говоря о клоаке, говорил, как это у него часто случалось, шутливо и в то же время вполне серьезно. Клоака – это не только башня и даже то место в башне, где располагался нужник, но и сама суть этого мира, мира не просто слегка запачканного, но насквозь пропитанного грехом, дерьмом, болью и смертью. Снизойдя в этот грязнейший из миров, Бог уже проделал большую часть пути в ад. Наш мир – преддверие ада и вечной погибели, и пока мы не позволяем Богу жизни сюда войти – не позволяем Ему и искупить нас. То, что не безнадежно грязно и не мертво, ни искупить, ни воскресить невозможно.

Мощь этого прозрения – «прорыва к Реформации», «опыта в башне» или «опыта клоаки» – невозможно переоценить. Как будто все средневековые горы перевернулись корнями вверх, все потемкинские деревни рухнули и ввергнулись в море. Ханжество человеческих дел и человеческой праведности открылось раз и навсегда. Отдернулась завеса – и римский понтифик, словно волшебник страны Оз, предстал ловким мошенником, дергающим за церковные рычаги. Обратной дороги не было. Если искать миг рождения будущего, каким мы его знаем, – вот он, этот миг.

Этот «прорыв в Реформацию» гласил, что весь блеск Ватикана, все его золото и мрамор – не более чем памятник попыткам человека стать Богом, то есть, по сути, памятник самому дьяволу в аду. Все это – наши попытки стать «хорошими» без Бога, впечатлить Бога нашей добродетелью и уподобиться Ему без Его помощи. Все это – хуже любых испражнений, ибо выдает себя за нечто доброе, прекрасное, святое и истинное, хотя на деле всему этому полностью противоположно.

И сколь многое следует из этого одного-единственного прозрения! Например, когда мы обращаемся к Марии и другим святым прежде обращения к самому Иисусу, не значит ли это, что мы на деле отрицаем Воплощение? Выходит, мы говорим, что Бог на самом деле не принял плоть, не сошел в наш грязный мир, чтобы быть с нами, любить нас и за нас страдать? Для Лютера любое обращение к Марии и святым, заменяющее обращение к Иисусу, сделалось сатанинским извращением высочайшей и святейшей истины во вселенной. Теперь он понял: это сущее антихристианство, и нет на свете ничего важнее, чем всем открыть на это глаза. В конечном счете, он пришел к мысли, что Святой Церковью овладел дьявол – и именно он, смиренный монах из Виттенберга, каким-то неисповедимым путем призван объявить об этом миру.

Итак, в «опыте клоаки» Лютер получил угли с небесного Престола; но когда и как из этих углей возгорится пламя? Что станет топливом для небесного огня?

Долго задаваться этим вопросом нам не придется. Тут же, словно по заказу, въезжает на тележке в нашу историю сладкоречивый торговец индульгенциями по имени Иоганн Тетцель.

Спор об индульгенциях

Иоганн Тетцель принадлежал к доминиканскому ордену. Был он лет шестидесяти, полноват и лысоват, однако обладал необычайным даром красноречия и умел собирать вокруг себя толпы народа. Поэтому папа Лев X, все более нуждавшийся в звонкой монете, поставил Тетцеля на должность главного распространителя индульгенций в Германии, особенно в Магдебурге и Хальберштадте. Папа стремился заработать, в нынешнем эквиваленте, миллиарды долларов торговлей вразнос; и Тетцель был именно тем, кто ему нужен. Верно, зачастую он говорил – как бы помягче выразиться? – вещи, далекие от строгой богословской истины: но, пока его речи подогревали желание верующих расстаться с деньгами, церковные власти на это смотрели снисходительно. В конце концов, бизнес есть бизнес. Рим постоянно нуждался в деньгах – и стремился заработать их любыми возможными способами; чем больше выкачивал он из верующих, тем сильнее возрастали его аппетиты; так что, поистине, лишь необыкновенный человек мог встать на пути у этой безжалостной, неумолимой силы и сказать ей: «Стой!»

Доминиканский священник Иоганн Тетцель, чья красноречивая реклама индульгенций вызвала к жизни «Девяносто пять тезисов» Лютера

Итак, Тетцель приехал в Ютербог, всего в двадцати пяти милях от Виттенберга, и начал, с благословения папы, проводить там свои шарлатанские шоу. В сравнении с тем, чем торговал он, все чудодейственные снадобья из змеиного жира выглядели безобидными овощами и фруктами. Слава о нем разнеслась по Германии, и люди приходили и приезжали за много миль, чтобы послушать Тетцеля – и не только послушать, но и оставить у него в карманах свои денежки. Да и как иначе? – ведь он продавал места в раю! Кто откажется купить себе небесное блаженство такой недорогой ценой, если верит, что такая сделка действенна? А верили в это все поголовно. Ведь за этой торговлей стоит сам папа: вон папские инсигнии висят у Тетцеля за спиной, так что любой покупатель может их разглядеть и убедиться!

Посредником в торговле индульгенциями выступал Альбрехт, архиепископ Майнцский, чья церковная казна тоже нуждалась в пополнении. Как повелось, Рим уделял ему часть дохода. Основная причина, по которой Тетцель не поехал в Виттенберг, состояла в том, что Фридрих, курфюрст Саксонский, видел в торговле индульгенциями прямую конкуренцию собственному священному бизнесу – демонстрации реликвий. Индульгенции оказались угрозой для доходов Саксонии – и его личных доходов. Были и другие причины. Однако многие верующие из Виттенберга, услыхав о чудесной возможности смыть с себя все грехи за умеренную плату и о том, что Тетцель ведет свои торговые операции в Ютербоге и Цербсте – двух городках примерно на равном расстоянии от Виттенберга – устремились туда. Да и какой дурак останется дома, когда прямо тут, по соседству, продают билеты в рай?

Лютер, как местный священник и наставник верующих, слишком хорошо понимал, что происходит – и всерьез тревожился за души своей паствы. Он понимал, что вся торговля индульгенциями – не что иное, как игра на невежестве и наивности верующих, и уже много лет осуждал эту практику; однако ни разу еще это зло не подходило к нему так близко, ни разу его цинизм не представал в такой неприглядной, отталкивающей наготе. Чем дальше, тем больше: вот уже и собственные прихожане Лютера входят в исповедальню, сияя от простодушной гордости, и протягивают отцу Мартину письменную индульгенцию, ожидая, что теперь он назначит куда менее суровую епитимью, – ведь за те грехи, о которых сейчас расскажут, они уже расплатились! Кто не верит – пожалуйста, вот документ! Правда, сами они не слишком-то грамотны и плохо понимают, что там написано – но отец Мартин у нас ученый, он разберет!

Кардинал Альбрехт Бранденбургский. Желая прибавить к своим владениям еще одно архиепископство, Альбрехт сильно задолжал Ватикану и, чтобы расплатиться с долгами, пригласил Иоганна Тетцеля торговать индульгенциями в своих владениях, что и привело к Реформации

Так богословская теория встретилась с практикой. Положим, официально Церковь может вещать все что угодно: но вот она, реальность торговли индульгенциями, совсем рядом, во всем своем безобразии. Собственными глазами и ушами Лютер видел и слышал, какое действие оказывает она на простых людей, стремящихся жить христианской жизнью. Откуда им знать, что Церковь просто использует их ради своих целей, – для строительства роскошных соборов, которых они никогда не увидят, а то и для чего-то гораздо худшего? Лютера тревожило и то, что из бедняков высасывают последние деньги, и – еще более – то, что Церковь этой практикой индульгенций фактически уводит верующих от Христа. Это великий соблазн, о котором кто-то должен заговорить вслух.

Лютер не рассчитывал на скандал, который потрясет всю Европу, – в его намерения это не входило. Но он был священником, проповедовал с кафедры, и долг перед Богом требовал от него не молчать. Так что в феврале 1517-го, а затем в марте того же года Лютер произнес проповеди об индульгенциях. Несомненно, он был не первым священником, заговорившим на эту тему; и говорил он о том, что клочок бумаги, купленный верующим, останется клочком бумаги, если ему не сопутствует искреннее раскаяние в совершенных грехах. А если вы искренне раскаиваетесь, продолжал он, эта бумага вам и не нужна – Бог и так видит ваше раскаяние и прощает ваши грехи.

Однако самая циничная, поистине дьявольская сторона индульгенций была связана с обещаниями облегчить страдания в чистилище умерших родных. Кто же допустит, чтобы его близкие мучились страшными муками, если их очень легко прекратить – достаточно выкупить их деньгами? И разве любой не отдаст ради этого все, что у него есть? Поэтому Тетцель в своих рекламных проповедях особенно напирал на мучения умерших – и ни одним риторическим приемом не пренебрегал, чтобы выжать из потрясенных слушателей все до последнего пфеннига:

> Слушайте же: Бог и святой Петр взывают к вам! Подумайте о спасении ваших душ и душ дорогих вам покойников. Священник, дворянин и купец, девица и мать семейства, юноша и старец – войдите ныне в церковь, в церковь Святого Петра. Склонитесь перед святым крестом, воздвигнутым пред вами и оплакивающим вас. Думали ли вы о том, что в мире сем вы подобны утлому челну, бросаемому бурей – бурей искушений и опасностей? И кто может знать, доберетесь ли вы до безопасной пристани – пристани не для смертного тела, но для бессмертной души? Подумайте: всякий, кто покаялся, исповедал свои грехи и принес достойный плод покаяния, получают полное отпущение всех грехов. Прислушайтесь к голосам дорогих своих родных и близких: они взывают к вам, они стонут: «Сжалься над нами, о, сжалься! Мы терпим страшную муку – а ты можешь за ничтожную цену нас освободить!» Неужели же вы останетесь глухи к этим мольбам? Вот отец взывает к сыну, мать к дочери: «Мы родили вас, вскормили, вырастили, оставили вам состояние: неужто же вы столь жестокосердны и такой малостью не хотите пожертвовать, чтобы нас освободить? Неужели оставите нас здесь, в огне? Не поможете нам скорее увидеть обетованную славу?»
>
> Помните: в ваших силах их освободить. Ведь «едва монета зазвенит, душа на небеса взлетит»[88].

[88] По-немецки эта фраза звучит так: «*Sobald der Gülden im Becken klingt im huy die Seel in Himmel springt*».

> Итак, неужто не хотите вы за какую-то четверть флорина приобрести индульгенцию, которая укажет божественной и бессмертной душе путь в ее небесное отечество?[89]

На протяжении веков церковная бюрократия страшно раздулась и стала походить на правительство или огромную корпорацию, высшие чины которой находятся на недосягаемой для простого народа высоте. Она обретала все больше и больше власти – и правила и законы Церкви все меньше походили на правила христианской общины в начале ее истории. Случись Петру или Павлу увидеть Церковь, какой стала она к 1517 году – несомненно, они изумились бы и не узнали ее.

Практика продажи индульгенций, поначалу согласная с церковным учением, ко времени Лютера перешла всякие разумные пределы. И можно ли ждать иного, когда за дело берется «невидимая рука рынка», не стесненная этическими соображениями? В замечательной книге *Brand Luther* («Факел по имени Лютер») Эндрю Петтигри называет кардинала Раймона Пероди «великим импресарио торговли индульгенциями», который

> …привнес в экономику спасения блестящую логистику и дух театра. Кампании по продаже индульгенций он планировал не менее тщательно, чем военные операции, которые они должны были финансировать. С городами, которые планировал посетить Пероди во время своих турне, заранее заключался контракт, и важное место в нем отводилось делению прибыли (как правило, одна треть – местной церкви, две трети – Пероди и его команде)[90].

[89] Цит. по: Bainton, *Here I Stand*, 64–65.

[90] Pettegree, *Brand Luther,* 56.

Продажа индульгенций. 1521

Против индульгенций выступал не только Лютер; однако их популярность росла и топила в себе возгласы недовольства. В 1489 году один видный богослов из Вюрцбурга решительно выступил против индульгенций. В своих проповедях в местном кафедральном соборе доктор Дитрих Морунг клеймил суеверное представление о том, что кто бы то ни было, пусть даже сам папа, может купить себе сокращение срока в чистилище за деньги. Однако Церковь – в лице кардинала Пероди – явление этого священника-идеалиста не обрадовало. За свое упрямство Морунг был отлучен от Церкви и брошен в тюрьму, где томился целое десятилетие.

После смерти Пероди в 1505 году против индульгенций возвысили голос и другие. Даже Штаупиц в серии проповедей, произнесенных в 1516 году в Нюрнберге, осудил эту практику. В начале 1517 года эти его проповеди были напечатаны на латыни и на немецком. Невольно приходит мысль, что Лютера вдохновил пример его старшего друга и наставника. Надо ска-

зать, что недовольство индульгенциями распространялось не только на Германию. Выступали против них и богословы из парижской Сорбонны. Многие были согласны, что это серьезная проблема, что с ней необходимо что-то делать – но кто их слушал?

Была и еще одна причина, по которой практика торговли индульгенциями пришлась не по душе многим германским князьям. За индульгенции платили звонкой монетой – и широкая их популярность вела к тому, что большое количество немецкого золота уходило из страны в Рим. Сам император Максимилиан спорил об этом с Пероди и в какой-то момент сумел настоять на том, чтобы значительная сумма, собранная на продаже индульгенций, осталась в Германии.

Современник Лютера по имени Миконий рассказывает, что с Тетцелем произошел однажды такой забавный случай:

> После того как Тетцель получил значительную выручку в Лейпциге, подошел к нему некий дворянин и спросил, можно ли купить индульгенцию за будущий грех. Тетцель, не раздумывая, ответил: конечно, можно – только плату нужно внести прямо сейчас. Так дворянин и сделал – и получил от Тетцеля бумагу с печатью. Когда же Тетцель выехал из Лейпцига, этот дворянин напал на него, хорошенько побил, ограбил и отправил обратно в Лейпциг с пустыми руками, сказав при этом: вот о каком будущем грехе я говорил! Герцог Георг, услыхав об этом, поначалу пришел в ярость, однако, выслушав историю с начала до конца, не стал наказывать разбойника и отпустил его с миром.

Глава шестая
«Девяносто пять тезисов»

Датой начала Реформации считается обычно 31 октября 1517 года. Причина этого, разумеется, в том, что в этот день монах-августинец по имени Мартин Лютер прибил к дверям Замковой церкви в Виттенберге свои «Девяносто пять тезисов». Этот иконический момент стоит в ряду других исторических моментов, окрашенных ощущением отваги и вызова – как образ Колумба, втыкающего испанский флаг в девственную почву неведомого прежде континента.

Проблема с этой красивой и волнующей душу картиной в том, что в действительности этого не было. Так часто случается с образами, запечатленными в коллективной культурной памяти: начав разбираться в том, что же произошло, понимаешь, что реальность была куда менее живописна.

Мартин Брехт в своем непревзойденном труде о Лютере, изданном в 1981 году, объясняет, что сами тезисы были написаны до прославленного дня, однако на дверях знаменитого собора, скорее всего, оказались примерно двумя неделями позже[91]. И дата, и сама сцена дошли до нас из воспоминаний Меланхтона, написанных несколько десятилетий спустя. Однако в 1517 году Меланхтона в Виттенберге не было, и свое утверждение он основывал на том, что слышал за эти годы. Почему же именно с этой даты мы отсчитываем начало Реформации? По нескольким причинам, но прежде всего потому, что в этот день Лютер действительно сделал нечто, имеющее значение для всей последующей истории: отправил письмо.

Отправить письмо – очевидно, действие слишком будничное, чтобы причислять его к великим моментам мировой истории». И, когда речь идет об отправке письма, вряд ли возможно ткнуть пальцем в какой-то конкретный момент – особенно если живешь, как Лютер, в мире без почтовых ящиков. Какой образ здесь подойдет? Лютер вручает письмо посыльному? Лютер задумчиво складывает исписанный лист? Эти скромные сценки никак не сравнить с громогласным *ба-а-амс!* – молотка, прибивающего к дверям, на всеобщее обозрение, исповедание истины. Удар молотка – отличная метафора: в нем есть сила, громкость, публичность. «Ба-а-амс!» – это то же, что: «Вот!», «Так!», «Есть!» и прочие междометия, чья односложность демонстрирует решительность и нежелание идти на компромисс.

Кроме того, мы еще не упомянули: Лютер вывесил свои тезисы на дверях Замковой церкви не для того, чтобы их прочел весь мир, а с куда более скромной целью – дать знать академическому сообществу Виттенберга, что он предлагает провести ученую дискуссию (диспутацию, как тогда говорили) на означенную тему. Декларация эта была обращена не к миру – большая часть которого все равно не читала по-латыни – и даже не к Риму и не к папе. Она обращалась к другим богословам, знающим латынь, и сообщала только одно: по мнению Лютера, это важный вопрос, достойный исследования и дискуссии.

Однако повесить этот разжигательный (в конечном счете) документ на дверях Замковой церкви в Виттенберге – разве не было в этом самом по себе вызова и смелости? В конце концов, Лютер посмел отвергать индульгенции на дверях той самой церкви, где его собственный князь, Фридрих Мудрый, хранил бесчисленное множество реликвий, якобы «действующих» точно так же, как и индульгенции! Поместить на дверях этой церкви такое объявление – не было ли это явным обличением той лжи, что творилась внутри? Можно ли понять это иначе?

Увы – для тех, кто склонен видеть в этом жесте драматическое величие – и можно, и нужно. Дело в том, что Замковая церковь находилась, так сказать, в самом центре общественной жизни Виттенберга, и огромные дубовые двери ее, через которые весь город входил в цер-

[91] Brecht, *His Road to Reformation*, 201.

ковь и оттуда выходил, как нельзя лучше служили в этом небольшом городке «доской объявлений». Каждый день здесь вывешивались разные объявления и рекламные плакаты, которые история для нас не сохранила. Сообразив, что тезисы Лютера были всего лишь еще одним подобным объявлением, мы увидим их в совершенно ином свете. В том, что Лютер повесил их на дверях церкви, не было ровно ничего особенного. Вполне возможно даже – хоть это и совсем разрушает привычную картину, – что повесил их не сам Лютер, а церковный сторож, в чьи обязанности входило вешать на церковные двери объявления и их снимать[92]. Наконец, вполне возможно, что таких объявлений было напечатано несколько штук, и развешаны они были на дверях нескольких виттенбергских церквей – в то время их в городе было не менее шести, и во всех входные двери использовались для той же цели. Разумеется, все это переворачивает с ног на голову привычную картину, утвердившуюся в умах за предыдущие пять столетий; однако всегда лучше следовать фактам – а факты здесь неоспоримы.

Есть и еще одна деталь, которую стоит упомянуть в связи с этой драматической, но нереалистичной картиной. Даже если бы Лютер вешал свои тезисы сам и именно в тот день, как утверждает легенда (или на следующий) – скорее всего, он не прибил бы их к двери гвоздями, а приклеил. Кисть и ведерко с клеем – конечно, это совсем не так драматично, как гвозди и молоток; однако, судя по всему, куда более соответствует фактам.

А факты таковы: 31 октября 1517 года Мартин Лютер отправил Альбрехту, архиепископу Майнцскому, важное письмо. Мы уже упоминали, что именно именем Альбрехта санкционировалось распространение индульгенций в Германии – и Лютер сообщал об этом досточтимому архиепископу, прося позаботиться о том, чтобы верующих, вверенных его пастырским заботам, торговцы индульгенциями не отвращали от истинной веры. Лютер, разумеется, полагал, что вера паствы должна всерьез заботить архиепископа, если он архиепископ не только по имени. Однако в письме его к архиепископу пока нет ничего смелого или дерзкого. Очень смиренно Лютер указывает на происходящий непорядок, обращая на это внимание ответственного лица, способного исправить ситуацию. Нет в письме и никакой враждебности – напротив, оно преисполнено уважения и почтения. В сущности, даже более чем почтения – вступительные его строки, не обинуясь, можно назвать льстивыми:

> Достопочтеннейший отец наш во Христе, сиятельнейший господин!
>
> Простите меня, недостойного и худшего из людей, что осмеливаюсь беспокоить Вашу светлость этим письмом. Господь Иисус мне свидетель: я долго колебался, помышляя о своей незначительности и недостоинстве, которые ясно сознаю. Однако все же дерзаю обратиться к вам, движимый исключительно долгом верности, которой обязан Вам, достопочтеннейший отец наш во Христе. Молю Вашу светлость удостоить взглядом эту щепотку пыли и, по неизменной доброте Вашей, выслушать мою просьбу.

Выразив подобающее случаю почтение к церковному начальству, дальше Лютер переходит к тяжелой, болезненной теме:

> По всей стране распространяются под Вашим сиятельным именем папские индульгенции, предназначенные для строительства собора Святого Петра. Не так беспокоит меня болтовня проповедников, которой я не слышу[93], как те жалости достойные заблуждения, которые, исходя от этих проповедников, широко распространяются среди простых людей. Очевидно, эти простые души верят, что, приобретя письменную индульгенцию, могут

[92] . “Luther’s Posting of His Theses: Much Ado About Nothing?” *Martin Luther and the Reformation: Essays.*

[93] Лавка индульгенций Тетцеля находилась в двадцати пяти милях от Виттенберга, в Ютербоге. Лютер не бывал на его проповедях сам и получал сведения от тех, кто там бывал.

быть уверены в своем спасении. Также убеждены они, что, сделав взнос в сундук продавца индульгенций, можно спасти душу из чистилища.

Далее, убеждены они, что благодать, распространяемая чрез индульгенции, столь совершенна и действенна, что дарует прощение за любой, самый великий и страшный грех – так что, говорят они, даже если бы кто-нибудь изнасиловал Матерь Божью (будь такое возможно) и затем купил индульгенцию, то был бы прощен. И наконец, верят они, что индульгенция освобождает человека от необходимости покаяния и епитимьи.

Боже правый! Души, вверенные Вашему попечению, достопочтенный отец, направляются прямиком в геенну. За все эти души Вы несете величайшую ответственность. Поэтому я не могу более молчать. Никто из нас не может быть уверен в своем спасении потому лишь, что совершил некое действие на благо Церкви. Да что там – даже излияние благодати Божьей не дает уверенности в спасении, ибо апостол [Павел] приказывает нам постоянно трудиться над своим спасением «в страхе и трепете».

…Как могут они [продавцы индульгенций] завлекать людей ложными надеждами и лишать страха [за свое спасение] этими лживыми рассказами и обещаниями прощения? В конце концов, индульгенции ровно никакого отношения не имеют ни к спасению, ни к святости души: они – лишь замена внешнему наказанию, налагаемому на основе канонического закона[94].

Разумеется, запечатывая и отправляя это письмо, Лютер не представлял – как не представлял и его адресат, – что коснулся сейчас вопроса огромного и страшного, покачнул ладонью отросток гигантской системы, уходящей корнями в самые мрачные глубины ада. Такую опухоль невозможно было вырезать, так сказать, под местной анестезией. В конечном счете Лютеру и его последователям пришлось перевернуть вверх дном всю структуру европейской реальности, на которой эта система паразитировала и процветала много столетий. Но кто мог знать об этом сейчас, в самом начале пути?

Итак, образ Лютера, смело прибивающего свою истину к дверям, чтобы весь мир и сам дьявол могли ее прочесть – выдумка. За этим образом стоит мысль, что наш герой заранее предполагал, что его действия приведут к отлучению от Церкви и, возможно, к ужасной смерти на костре, что удар его молотка станет первым выстрелом в войне с дьявольской системой, глубоко пустившей свои корни и возвышающейся над Европой, словно горный хребет. Но это очень далеко от истины. Когда Лютер писал и публиковал свои тезисы, когда написал и отправил письмо Альбрехту Майнцскому, ничего подобного у него на уме и близко не было. Благородный образ Лютера, провозглашающего свою бунтарскую истину и тем открывающего новую страницу в мировой истории, возник лишь задним числом. В отрыве от будущего – следующих лет, десятилетий, веков – он не имеет смысла. В сущности, какой-то смысл начал появляться у него лишь несколько десятков лет спустя, когда об этом рассказал Меланхтон – хотя, как мы уже упоминали, Меланхтона в то время не было в Виттенберге, и ориентировался он лишь на воспоминания людей, которые там были. Эти воспоминания он сочетал и излагал так же, как делают многие из нас, когда хотят рассказать о каких-то важных событиях: не лгал – но стремился создать яркую картину, пусть не вполне точную, не буквально соответствующую тому, что произошло на самом деле, но исполненную глубокого смысла и передающую какую-то важную истину.

[94] LW, 48:45–47.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.